СЕРГЕЙ СОРОКИН



ТОМ 12

КОМАНДИР БОМБАРДИРОВЩИКА

Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 12

«Автор»
2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 12 / С. Сорокин — «Автор», 2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года.У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин.Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

© Сорокин С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 15
Глава 3 25
Глава 4 33
Глава 5 41
Глава 6 48
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Сергей Сорокин
Командир бомбардировщика - 12

Глава 1



Она не отпускает сразу. Тарасов смотрит на её руки и впервые перестаёт гадать, где мальчик мог остаться.

Боец останавливается в дверях, смотрит на Тарасова, на его застёгнутую кобуру, и говорит:

— Который с самолёта?

— Я. — Тарасов пытается подняться, но колено не держит; боец ладонью показывает: сиди.

— Фамилия?

— Тарасов.

— Часть?

Тарасов называет.

Боец кивает.

— Передали, — говорит он. — Наш командир по проводу сообщил. Сказали, за тобой приедут. Ты пока тут сиди, никуда не ходи.

— А когда приедут?

— А кто их знает, — говорит боец. — Дорогу перекидало.

И уходит.

И вот тут, когда дверь за ним закрывается, у Тарасова наконец отпускает.

Он сидит на лавке в чужой избе, в тепле, с замотанным полотенцем коленом, и его начинает трясти.

Прасковья смотрит на это, не подходя.

Потом говорит:

— Ложись на печь. Мать подвинется.

Приезжают за ним на следующий день, к вечеру, потому что дорогу действительно перекидало и сани прошли только с третьей попытки.

За эти сутки он успевает многое.

Он узнаёт, что у Прасковьи муж пропал без вести в сорок первом, старший сын — на Ленинградском фронте, письмо было в ноябре; что свекровь три недели не встаёт нормально, а тут вон, с печи слезла; что Колька умеет считать до ста и читает по складам.

Он успевает починить Прасковье дверную скобу, которую оторвало взрывной волной, — сидя, потому что стоять не может.

И он успевает узнать про лошадь.

Это выходит случайно.

Вечером Прасковья берёт коромысло и два ведра и собирается за водой. Тарасов, лежа на печи, спрашивает:

— Далеко?

— На ключ. Полверсты.

— А колодец?

— Колодец завалило.

Он молчит секунду.

— А возить не на чем?

И вот тут Прасковья, уже в дверях, говорит:

— Было на чём. Гнедко был.

— Где? — Тарасов приподнимается на локте.

Прасковья перехватывает коромысло, задержавшись на пороге.

— Взяли, — говорит она. — В январе взяли, для перевозки. Бумажку дали.

— Какую бумажку?

— А я почём знаю какую. Бумажка и бумажка. Сказали — вернём.

И уходит с коромыслом.

Тарасов лежит на печи и смотрит в потолок, по которому ходят тени от лучины.

Он лежит и думает, что эта женщина, которая его не сдала, не выгнала и обмотала ему колено собственным полотенцем, каждый день ходит за водой полверсты с двумя вёдрами, а он весит восемьдесят килограммов и его сейчас увезут на санях.

Сани приходят в сумерках.

Их слышно раньше, чем видно: скрип полозьев по мёрзлому и чей-то голос, покрикивающий на лошадь.

Тарасов к этому времени сидит уже не на печи, а на лавке у окошка, потому что весь день не находил себе места и извёл этим Прасковью до того, что она сказала: «Сиди, где хочешь, только не под ногами».

Он смотрит в подслеповатое окно, залепленное с одного угла бумагой, и видит, как во двор въезжают сани с двумя бойцами.

— За тобой, — говорит Прасковья.

— За мной.

Она стоит посреди избы, вытирая руки о передник, и вид у неё такой, будто она собирается что-то сказать и не решается.

Бойцы входят — оба в полушубках, оба с мороза, оба заполняют собой полизбы.

— Тарасов?

— Я.

— Идти можешь?

— Могу.

— Врёт, — говорит Прасковья от печки. — На одной ноге прыгает.

Старший поисковик — сержант с обмороженным носом — смотрит на неё, потом на Тарасова.

— Тогда понесём, — говорит он просто.

И дальше начинается то, что Тарасов потом будет вспоминать чаще всего.

Он собирается уходить. Ему надевают на здоровую ногу его же сапог, второй берут под мышку. Он поднимается, опираясь на плечо сержанта, и стоит посреди избы, и вдруг понимает, что ему нечего им оставить.

Совсем нечего.

У него есть пистолет, который не его, планшет с картой, которую нельзя, и обгоревший комбинезон.

— Хозяйка, — говорит он.

— Ну?

— Я вам... — Он запинается. — Я вам ничего не могу.

Прасковья смотрит на него.

— А я у тебя разве просила?

— Не просили.

— Ну и всё, — говорит она.

Старуха приподнимается на печи, придерживая сползающий платок. Тарасов поворачивает к ней голову: прежде она только спрашивала о нём у Прасковьи, а теперь смотрит прямо на него.

— Ты, солдат, живой будь. Вот и вся плата.

Колька стоит в углу и держится за косяк, и Тарасов видит, что мальчишка вот-вот заревёт, и потому говорит нарочито грубовато:

— Ну, ты. Скобу-то не трогай пока, я её на честном слове прикрутил. Пусть мать гвоздь найдёт, я показал, куда бить.

— Найду, — говорит Колька. — Я сам забью.

— Сам — не надо. Молоток тяжёлый.

— А я двумя руками.

Уже во дворе, когда его усаживают в сани и накрывают чем-то, Прасковья выходит без платка, в одной кофте, и суёт ему свёрток.

— Что это?

— Картошка варёная. А полотенце с колена пока не снимай.

— Я полотенце верну, оно ваше.

— Оно у тебя на колене, — говорит она. — Куда я его теперь? Бери, у меня есть ещё одно.

Сани трогаются.

Тарасов оборачивается.

Он видит их троих в воротах: женщину в кофте, мальчишку в огромной шапке и старуху, которая всё-таки выбралась на крыльцо и стоит, держась за дверь.

Он поднимает руку.

И до самого поворота, пока деревня не скрывается за увалом, он сидит боком в санях и смотрит назад, хотя уже давно ничего не видно, кроме печных труб и дыма над ними.

— Замёрзнешь, — говорит ему сержант. — Ложись нормально.

— Сейчас, — говорит Тарасов.

Донесение о Тарасове мне приносят в третьем часу дня.

Я в это время на стоянке, с Плешаковым, и мы с ним обсуждаем совершенно другое — моторы, которые должны прийти и которые опять задерживаются.

Прибегает связной.

— Товарищ подполковник! Из поисковой!

Я разворачиваю.

«Стрелок Тарасов Г. Т. обнаружен в деревне Заречье, находится в доме местных жителей, состояние удовлетворительное, транспортабелен. Эвакуация задерживается по состоянию дороги».

Я читаю это дважды.

Потом отдаю листок Плешакову, потому что мне нужно секунду постоять и ничего не делать.

Плешаков читает и молча возвращает.

— Живой, — говорит он.

— Живой.

— Ну и слава богу, — говорит Плешаков и, помолчав, добавляет своё, техническое: — А я говорил, что у них люк изнутри тугой.

Я иду в казарму сам.

Это, вообще говоря, не моё дело. Есть старшина, есть командир эскадрильи, у меня в полку триста человек, и если командир полка будет лично носить каждую хорошую новость, он не будет делать ничего другого.

Я иду сам.

Потому что за последние сутки я двенадцать раз проходил мимо той койки и видел на ней вещмешок.

В казарме человек десять. Кто спит, кто сидит.

— Тарасов нашёлся, — говорю я с порога. — Живой, в деревне, у людей. Привезут, как сани пройдут.

Секунду тихо.

Потом начинается то, что в книгах называется ликованием, а на деле выглядит как беспорядочный шум: кто-то вскакивает, кто-то бьёт кулаком по нарам, Бойко, который лежал лицом к стене, садится и говорит: «Я же говорил!» — хотя он ничего такого не говорил, он вчера молчал весь день.

Старшина поворачивается к его койке и начинает поправлять одеяло, которое и так лежит ровно.

Про лошадь я узнаю через два дня, когда Тарасова уже привезли, осмотрели и уложили.

Он лежит в медпункте с ногой на валике, и у него вид человека, которому очень неловко лежать.

— Товарищ подполковник, — говорит он, увидев меня. — Разрешите обратиться.

— Обращайся.

— Мне бы... — Он мнётся. — Там семья. Которые меня.

— Записал фамилию?

— Записал. Прасковья Ильинична Кузнецова, деревня Заречье, второй дом от края, где труба целая.

Я достаю блокнот и записываю.

— Дальше.

— Товарищ подполковник, у них лошадь взяли.

— Кто взял?

— Не знаю. В январе. Для перевозки. Бумажку дали, обещали вернуть.

Он рассказывает мне про воду, про полверсты, про коромысло и про то, что свекровь не встаёт, а мальчишке восемь лет.

Рассказывает сбивчиво и с той настойчивостью, с какой человек говорит о вещи, которая мучила его двое суток.

Я слушаю и чувствую в себе очень простое и очень нехорошее движение.

Мне хочется взять машину, поехать туда, где стоит эта лошадь, и забрать её.

Я подполковник, командир полка, у меня в подчинении триста человек, и, если я захочу, я найду эту лошадь за полдня и привезу её в Заречье, и Прасковья Ильинична будет плакать и благодарить, и Тарасов будет смотреть на меня как на бога.

И это будет ровно то, чего делать нельзя.

Потому что лошадь эта сейчас где-то работает. Возит снаряды, или раненых, или хлеб. И, если я приеду и заберу её властью подполковника, я заберу её у какого-то другого человека, которому она нужна не меньше, а может быть, и больше. И тот человек будет стоять и смотреть, как у него забирают лошадь, потому что приехал кто-то старше званием.

Я эту механику знаю наизусть. Я тридцать лет смотрел, как она работает, — только там она работала с фондами, вагонами и людьми, а суть была та же самая.

— Слушай сюда, — говорю я Тарасову. — Я этим займусь.

— Спасибо, товарищ...

— Я не договорил. Я займусь, но не так, как ты думаешь. Я никого не поеду хватать за узду. Я пойду к бумагам.

— К каким бумагам?

— К тем, которые им дали, — говорю я. — Ты сказал: дали бумажку. Значит, где-то есть запись: изъято тогда-то, у такой-то, на срок такой-то. Вот с этой записью и будем работать.

Тарасов смотрит на меня с сомнением.

Ему двадцать лет, и он ещё не знает, что бумага бывает не только препятствием.

Шульгу, нашего капитана интендантской службы, я застаю за тем, что он ругается с кем-то по телефону насчёт валенок.

Дождавшись конца, излагаю.

Шульга слушает, покачивая головой, и с каждым моим словом качает всё выразительнее.

— Товарищ подполковник, — говорит он наконец. — Вы хоть понимаете, что это не наша епархия?

— Понимаю.

— Мы авиационный полк. Лошадей у населения берёт не авиация. Это или тыл армии, или кто угодно.

— Понимаю.

— И где я вам её искать буду?

— По записи, — говорю я. — Ты же сам мне в декабре объяснял, что у вас на всё есть учёт, и хвастался, что найдёшь любую бочку.

Шульга кряхтит.

Он не злой человек, он просто уставший до предела и хорошо знающий, что любое чужое поручение отнимает время от своего.

— Товарищ подполковник, а вам это зачем?

Вопрос честный, и я отвечаю честно:

— Затем, что эта женщина двое суток держала у себя нашего стрелка, кормила его последней картошкой и укрыла его при обстреле, хотя могла просто закрыть дверь. И теперь она ходит за водой полверсты.

Шульга смотрит на меня.

— Ладно, — говорит он. — Три дня.

На поиски уходит четыре дня.

На четвёртый вечер он приносит две выписки.

— Нашёл. Мобилизация временная, вот срок — уже вышел. И вот подразделение: тридцать километров от нас. Гнедко у них числится живой, на довольствии.

Шульга расправляет загнутый угол выписки и ждёт, пока я прочитаю сам.

— И вот тут, — говорит Шульга, придя ко мне с бумагой, — начинается самое интересное.

— Что?

— То, что они её не вернули не потому, что жулики. — Он тычет пальцем в свои записи. — У них два коновода выбыли, часть передвигалась, документы в дороге. Они про эту лошадь просто забыли. У них таких лошадей одиннадцать.

— И что делать?

— А ничего особенного, — говорит Шульга с удовольствием человека, который наконец в своей стихии. — Я им написал. Со ссылкой на срок и на их же бумагу. И мне ответили, что вернут по принадлежности, и просят прислать, кому передать.

— Так просто?

— Так просто, — говорит Шульга. — Знаете, товарищ подполковник, что самое смешное? Если бы вы поехали туда сами и стали требовать, они бы упёрлись. Из принципа. А бумажке уперёться нечем.

Лекарства мы отправляем той же оказией.

Это отдельная история, и в ней участвует Лида, и участвует она так, как участвует всегда: сначала спорит, потом делает лучше, чем просили.

— Что вы хотите им послать? — спрашивает она.

— Что-нибудь. От простуды. У старухи кашель.

— «Что-нибудь» я вам не дам, — говорит Лида. — У меня учёт, и у меня раненые.

— Лидия Андреевна.

— Не «Лидия Андреевна». — Она достаёт свою тетрадь. — Расскажите подробно, что у них там. Кто, чем болеет, сколько лет.

Я рассказываю всё, что знаю от Тарасова.

Лида слушает, записывает, затем кладёт на стол лист расхода и показывает строки.

— Могу выделить перевязочные пакеты, стрептоцид и немного соды. Это немного. Я это оформлю как передачу гражданскому населению, с записью, и пусть подпишет их сельсовет или кто там у них есть.

— А если нет сельсовета?

— Тогда боец, который повезёт, распишется за получателя и укажет обстоятельства.

— Это обязательно?

Лида поднимает на меня глаза.

— Иванов, — говорит она. — Через полгода кто-нибудь придёт проверять мой фонд. И я должна буду объяснить, куда делся стрептоцид. И я не хочу объяснять это словами «одна хорошая женщина спасла нашего стрелка». Я хочу показать бумагу.

Она права.

И, кроме того, я вижу, что она за этим ворчанием делает: она добавляет в свёрток то, о чём я не просил и не додумался бы. Бинты. Немного соды. И — отдельно, завёрнутое — что-то детское.

— Это что?

— Это мальчику, — говорит Лида. — У них там восьмилетний, вы сказали. У меня от эвакуированных остались рыбий жир и витамины в горошинах. Они сладкие.

Тарасов едет в Заречье через десять дней, когда с ногой становится лучше.

Едет официально: я подписываю ему увольнительную, и с ним едет Шульга, потому что лошадь надо принять по бумаге, и едут сани.

Возвращаются они к ночи.

Я нахожу Тарасова в казарме — он сидит на своей койке, распаренный, в расстёгнутой гимнастёрке, и рассказывает сразу пятерым.

— ...а он её узнал! — говорит он. — Гнедко-то. Мы его подводим, а Колька выбегает, и он к нему башкой тянется. Прямо тянется!

— А хозяйка?

— А хозяйка... — Тарасов замолкает. — Она сначала стояла и не подходила. Как будто не верила. А потом подошла, обняла его за морду и стоит. И Шульга ей бумагу суёт, расписаться, а она не видит ничего.

Он рассказывает про упряжь: что хомут за месяц у чужих раскис и что супонь никуда не годилась, и что они с Колькой полдня её чинили, а Тарасов, оказывается, умеет, потому что вырос в деревне под Калинином и до войны ходил за лошадьми.

— И воду привезли! — говорит он. — Сразу. Две бочки. Она говорит: мне теперь на неделю.

— А дрова?

— И дрова притащили из леса. Там валежник, его бабам не дотащить, а на санях — раз.

Кто-то спрашивает:

— А тебе-то что с этого?

Тарасов смотрит на спросившего.

— Как что, — говорит он. — Она мне колено полотенцем обмотала.

И в этом ответе, по-моему, всё, что нужно знать про этого парня.

В Ленинград я еду в середине февраля.

Еду не за подвигом: у нас накопилось имущество, которое надо сдать, и есть разрешённый груз, который надо доставить, и есть я, который последний раз был в этом городе в сорок первом году.

Груз — мука и ещё кое-что по списку.

Со мной едут двое бойцов и шофёр. Дорога скверная, мы идём четыре часа там, где летом прошли бы за полтора.

Город я узнаю и не узнаю.

Узнаю — потому что улицы те же. Не узнаю — потому что в них нет людей в том количестве, в каком они были.

И ещё: он стал очень тихим. Настолько тихим, что слышно, как скрипит снег под колёсами.

Но по этим улицам теперь идут не так, как в сорок первом.

Я не сразу понимаю, в чём разница, а потом понимаю: люди идут посередине тротуара. Не жмутся к стенам, не оглядываются, не идут той особой перебежкой, которой ходят там, где стреляют.

Обстрелы кончились три недели назад.

Это видно и по другим мелочам, которых я сначала не замечаю, а потом начинаю считать.

На углу стоит женщина и торгует не чем-нибудь, а спичками — просто стоит на углу, на открытом месте, где раньше никто бы не встал.

На стене дома синяя надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Краска старая, выцветшая. Её никто не закрасил, и мимо неё идут, не глядя, и это самое сильное, что я вижу за весь день: надпись ещё есть, а опасности уже нет.

У булочной очередь, и очередь стоит на улице, а не под аркой.

В сквере трое мальчишек катаются с наледи. Не прячась, не прислушиваясь, просто катаются и орут.

И ещё одно, до чего я додумываюсь не сразу: за час езды по городу я ни разу не увидел, чтобы человек остановился и посмотрел в небо.

В сорок первом так делали все. Останавливались, поднимали голову, слушали. Привычка была въевшаяся, её нельзя было отменить приказом.

А теперь не смотрят.

Про снятие блокады я знаю, конечно. Приказ читали в полку, салют был двадцать седьмого, и я его даже слышал по радио — треск, гул и голос диктора.

А теперь я вижу, как это выглядит на земле.

Это выглядит как женщина, которая стоит посреди Восьмой линии и разговаривает с другой женщиной. Просто стоит и разговаривает, не под аркой, не в подворотне.

Дом, который я ищу, стоит целый, но с выбитыми окнами на верхних этажах.

Тётя Клава — первый этаж, квартира шесть, по адресу, который Лида написала мне на бумажке и который я вёз в планшете сорок километров вместе с посылкой.

Дверь открывает старуха.

— Вам кого?

— Ковалёву Ольгу Никитичну.

— А вы кто?

— Иванов. Я от Лиды.

За её спиной в тёмном коридоре что-то происходит: слышны быстрые шаги, и появляется вторая женщина, и она хватается за косяк.

— От Лидочки?

Ольге Никитичне пятьдесят с небольшим, а выглядит она на семьдесят, и я знаю, почему, и не говорю об этом ни слова.

Мы сидим в комнате на первом этаже, и я отдаю посылку.

В посылке — то, что собрала Лида и что собрала Анна Петровна, и ещё то, что я добавил сам, и общий вес получился такой, что Ольга Никитична, приняв, чуть не садится.

— Куда ж столько, — говорит она.

— На несколько человек собирали. Не убирайте до праздника, Лида просила есть каждый день.

— Столько... — Она ладонью придерживает узел; я ставлю его на стол, чтобы ей не держать вес.

Она развязывает, достаёт, раскладывает на столе и над каждой вещью останавливается.

Потом спрашивает про Лиду. Всё сразу: похудела ли, есть ли у неё валенки, не кашляет ли, ест ли.

Я отвечаю честно: похудела, валенки есть, кашляет иногда, ест нерегулярно, но ест.

— А замуж? — спрашивает Ольга Никитична.

— Про это не знаю.

— Как не знаете, вы же вместе служите.

— Мы вместе служим, а про замуж она со мной не разговаривает, — говорю я. — Она со мной разговаривает про раненых и про то, чтобы я не портил себе ногу.

Ольга Никитична неожиданно смеётся.

— Это она, — говорит она. — Это моя.

Про окно я узнаю, когда собираюсь уходить.

Точнее, я его вижу.

Комната освещена странно: света мало, и он идёт сверху, потому что нижняя половина окна заложена. Не досками — какой-то конструкцией из фанеры, тряпья и, кажется, старого шкафа.

А верхняя половина — стекло. Целое.

— Это у вас так с какого года? — спрашиваю.

— С сорок первого, — говорит Ольга Никитична. — Как выбило, так Клавдия Петровна и заложила.

— А теперь?

Она смотрит на своё окно.

— А теперь думаем, — говорит она. — Обстрелов-то нету. Клавдия говорит, давай разберём, а я боюсь.

— Чего?

— А вдруг опять.

И вот тут я делаю то, ради чего, наверное, и стоило ехать.

— Давайте разберём, — говорю я. — Не всё. Нижнюю четверть оставим, чтоб можно было заложить обратно, если что. А остальное — снимем.

— Так ведь холодно станет.

— Станет, — соглашаюсь я. — Поэтому давайте так: у меня в машине есть фанера, рейки и два куска стекла из разрешённого хозяйственного груза. Один под вашу раму подойдёт. Разберём, посмотрим, что с рамой, и сделаем нормально.

Разбираем мы часа полтора.

Это оказывается работа: конструкция за два с половиной года срослась, слежалась, примёрзла в двух местах, и сверху на ней лежит слой пыли толщиной в палец.

Приходит тётя Клава — Клавдия Петровна, маленькая, суетливая, в двух платках, — и сначала охает, а потом начинает командовать.

Мой боец таскает мусор. Второй придерживает табурет и подаёт инструмент.

Я стою на табурете и придерживаю раму, потому что она болтается: шпингалет вырвало ещё в сорок первом, и всё это время она держалась исключительно тем, что была заложена.

Клавдия Петровна подаёт рейку.

Ольга Никитична сидит на придвинутом сундуке и забивает нижние гвозди.

Она забивает их сама — я предложил, она отказалась, — и забивает короткими точными ударами. После каждого гвоздя отдыхает, положив молоток на колени. Верхнюю рейку закрепляет боец; стекло вставляем и замазываем вместе.

— Я до войны в домоуправлении работала, — объясняет она.

К четырём часам мы заканчиваем.

В комнате становится светло.

Я и не думал, что разница будет такая. Было — сумерки в три часа дня. Стало — обычная дневная комната, с пятнами света на полу, с видимой пылью в воздухе, с тенями от рамы на стене.

Ольга Никитична стоит посередине и молчит.

Потом говорит:

— Господи, а обои-то какие грязные.

И мы все начинаем смеяться — глупо, с облегчением, как смеются люди, которым очень надо засмеяться.

Про затемнение я говорю отдельно, потому что об этом нельзя не сказать.

— Ольга Никитична. Вечером всё равно завешивать.

— Я знаю.

— Правила не отменяли. Отменят — тогда и снимете совсем.

— Да я понимаю, — говорит она. — Мне же не для ночи. Мне для дня.

Она подходит к окну и трогает раму ладонью.

— Я, знаете, — говорит она, — два года не видела, какая на улице погода. То есть видела — сверху, кусочек неба. А какой снег лежит, какие люди ходят — не видела.

С улицы, снизу, слышно, как разговаривают две женщины.

Одна говорит: «...говорят, теперь совсем отогнали, аж до самой Луги». Вторая отвечает: «Дай-то бог. Ты крупу брала?»

И вот эти две фразы подряд — про Лугу и про крупу — для меня и есть то, что называется снятием блокады.

Склад, куда надо сдать муку, находится в глубине двора, и во двор нельзя въехать.

Двор забит снегом.

Не сугробами — именно забит: за зиму его никто не чистил, потому что чистить было некому, и теперь между воротами и дверью склада лежит полтора метра слежавшегося снега длиной шагов в двадцать.

— Приехали, — говорит шофёр.

Я иду искать людей.

Глава 2



Людей находится трое: пожилой мужчина в очках, который тут за старшего, и две женщины.

— А грузчики?

— Грузчики, — говорит мужчина и делает неопределённый жест. — Один болеет. Второй в январе умер. Третьего забрали.

— Так.

— Вы не подумайте, — быстро говорит он. — Мы примем. Мы вдвоём с Дусей примем, только это долго.

Я смотрю на Дусю.

Дусе лет пятьдесят, и в ней, я думаю, килограммов сорок пять.

Мешки по сорок килограммов. Даже такой одному ей не поднять.

— Так, — говорю я. — Никто никого не принимает, пока не сделаем дорожку.

Мы копаем сорок минут.

Копаем вчетвером: я, двое моих бойцов и шофёр, и работаем двумя лопатами, потому что больше нет. Мужчина в очках пытается помогать и через десять минут садится на ящик и сидит, часто дыша.

Я снимаю шинель на двадцатой минуте.

Это, между прочим, неудобно: под шинелью гимнастёрка, а на гимнастёрке погоны, и я прекрасно понимаю, как выглядит подполковник с лопатой во дворе продсклада.

Но выбора нет: в шинели копать невозможно.

Дорожку мы пробиваем, и она получается узкая — в одну человеческую ширину, — и по ней носить придётся по одному.

Мешки носим вчетвером, попарно на коротких носилках; по узкой дорожке один идёт впереди, второй сзади. Заведующий держит дверь, Дуся распоряжается укладкой.

Сорок два мешка.

Одиннадцатый или двенадцатый мешок несём с бойцом. Я впереди, у двери показываю влево, где свободно; ставим носилки возле стены и берёмся сдвинуть туда мешок.

— Не туда! — кричит Дуся.

Я оборачиваюсь.

— Не туда! — повторяет она и идёт ко мне через весь склад. — Вы куда его ставите?!

— К стене.

— К стене! — Она всплёскивает руками. — Товарищ военный, это же наружная стена! Она мокрая! Вы у меня муку через неделю в комок превратите!

Я стою у носилок и смотрю на эту женщину.

Она мне по подбородок, у неё под платком видно, какая она худая, и она только что накричала на подполковника посреди своего склада.

И она совершенно права.

— Куда ставить? — спрашиваю.

— Вон туда. — Она показывает. — На поддоны. Там сухо, я проверяла. И в два ряда, не в три, чтоб дышало.

Мы снова берём носилки и переносим мешок туда, куда она показала.

И следующие тридцать мешков мы ставим так, как говорит Дуся, и она стоит посреди склада и командует, и мои бойцы её слушаются беспрекословно, потому что человек, который знает своё дело, узнаётся мгновенно и в любой форме.

Принимают по весу.

Это тоже отдельная процедура, и она занимает время: мужчина в очках выставляет весы, взвешивает каждый пятый мешок и пересчитывает, и записывает, и заставляет меня расписаться в трёх местах.

— Это обязательно? — спрашивает мой шофёр, притопывая от холода.

— Обязательно, — говорит мужчина в очках. — Это ж не моё и не ваше. Это городское.

Вечером они кормят нас.

Мы не просим. Просто, когда всё закончено и бумаги подписаны, Дуся говорит:

— Погодите уезжать.

И уходит куда-то, и возвращается через двадцать минут, и зовёт нас в тёплую каморку при складе, где стоит железная печка и висит на гвозде чей-то ватник.

На столе — четыре миски.

В мисках — суп. Настоящий, горячий, с картошкой и с чем-то ещё, и хлеб, нарезанный тонко.

— Откуда? — спрашиваю я.

— Из нашего котла, — говорит Дуся. — У нас тут своё хозяйство, мы кормимся.

— Дуся, мы сыты.

— Вы сегодня сорок два мешка перетаскали, — говорит она. — Садитесь и ешьте, не обижайте.

И мы садимся и едим.

Я ем и думаю, что за три года войны у меня набралось таких столов — чужих, случайных, с последней картошкой — штук, наверное, двадцать. И что ни за одним из них меня не спросили, какое у меня звание.

Лиду я нахожу на следующий день после возвращения, и нахожу поздно: у неё до девяти приём, а потом она ещё час пишет.

Она сидит за своим столом, при лампе, и пишет, и по тому, как у неё поднято плечо, видно, что она устала до того состояния, когда перестаёшь ровно сидеть.

— Лидия Андреевна.

— Да?

— Я был у вашей матери.

Карандаш у неё останавливается.

Она поднимает голову, и я вижу, что она мгновенно, за полсекунды, прошла путь от усталости до полной собранности — как это бывает у врачей, когда их будят ночью.

— Как она?

— Живая. Худая. Ходит.

— Кашляет?

— При мне не кашляла.

— Ест?

— Ест, — говорю я. — У них там с тётей Клавой хозяйство, они вдвоём.

Лида откладывает карандаш и складывает руки на столе, и это у неё означает: рассказывайте всё, подряд, ничего не сокращая.

Я рассказываю.

Про то, как открывала старуха и как за ней вышла Ольга Никитична и схватилась за косяк. Про посылку и про то, что она над каждой вещью останавливалась. Про то, как она спрашивала — сразу всё: похудела ли, есть ли валенки, не кашляет ли, ест ли.

— И что вы сказали?

— Правду.

— Какую?

— Что похудели, что валенки есть, что кашляете иногда, что едите нерегулярно.

Лида морщится.

— Зачем про кашель?

— Затем, что она про вас всё равно думает худшее, — говорю я. — И если бы я сказал, что вы цветёте, она бы решила, что я вру. А так — поверила и успокоилась.

Лида молчит.

Потом спрашивает — и голос у неё чуть не тот:

— Про замуж спрашивала?

— Спрашивала.

— И что?

— Я сказал, что вы со мной про это не разговариваете. Что вы со мной разговариваете про раненых и про то, чтобы я не портил себе ногу.

Она вдруг смеётся — коротко, сквозь усталость.

— И что она?

— Сказала: «Это она. Это моя».

Лида берёт карандаш и начинает вертеть его в пальцах.

— Дальше, — говорит она.

И я рассказываю про окно.

Подробно: про заложенную нижнюю половину, про фанеру и тряпьё, про то, как всё это срослось за два с половиной года, про то, что твоя мать сама забивала гвозди и что у неё выходило лучше, чем у меня, потому что она до войны работала в домоуправлении.

Про то, как в комнате стало светло.

Про грязные обои.

Лида слушает, не перебивая, и когда я дохожу до обоев, она опускает голову и сидит так секунд десять.

Я молчу.

Потом она вытирает лицо ладонью — быстро, одним движением, как вытирают пот, — и говорит совершенно ровным голосом:

— Спасибо.

— Не за что.

— Есть за что, — говорит Лида. — Вы мне сейчас дали то, чего я не могу получить письмом.

— Чего?

— Как она выглядит, — говорит она. — Она мне в каждом письме пишет «живы, здоровы, не волнуйся». Четыре слова. Я их читаю и не знаю, сколько за ними стоит.

Она снова берёт карандаш.

— Теперь скажите мне медицинское, — говорит она. — Отёки на ногах есть?

— Не знаю. Я не смотрел.

— А как она вставала со стула?

Я вспоминаю.

— Держалась за стол, — говорю я. — Обеими руками.

— Плохо, — говорит Лида и записывает это себе в тетрадь. — Ладно. Я ей напишу, что можно сделать, и ещё соберу.

И вот эта тетрадь, в которую она вносит то, как её мать встаёт со стула, — она у меня потом долго стоит перед глазами.

Стол у Анны Петровны получается через неделю после моего возвращения, и собирает его она сама, без всякого приказа.

Просто в один день говорит:

— В субботу приходите все.

— Кто все?

— Ваши, которых искали. И которые искали.

Анна Петровна живёт и работает на северной площадке, в двадцати минутах езды, и туда ходит наша машина, и у неё там кухня, домик и полное самоуправление.

В субботу мы едем: Тарасов, Бойко, Веткин, Ивахненко, двое поисковиков, Лида и я.

В домике натоплено так, что сразу хочется снять всё.

Стол накрыт длинный, из двух составленных, и на нём стоит то, что бывает у Анны Петровны и чего не бывает больше нигде: картошка в мундире горой, квашеная капуста, солёные огурцы, хлеб и её лепёшки.

— Садитесь, — командует она. — Кто где хочет.

Тарасов садится у стены, в угол.

Я это отмечаю и ничего не говорю.

Лида в этот вечер встречает двух своих старых пациентов, и это отдельная сцена, которую я наблюдаю со стороны.

Один — тот самый Никитин, механик, которого она лечила ещё зимой сорок первого, когда мы стояли под Ленинградом. Он сейчас в третьей эскадрилье, здоров, крепок и подходит к ней сам.

— Лидия Андреевна! А я вас в сорок втором искал.

— Зачем?

— Сказать, что рука работает.

Он показывает: сжимает и разжимает кулак, крутит кистью.

— Хорошо, — говорит Лида. — Тяжёлое поднимаете?

— Да я всё поднимаю.

— А холод?

— Ломит, — признаётся он. — К погоде.

— Будет ломить, — говорит Лида. — Всегда будет. Но работает, и это главное.

Второй — я его тоже помню, но хуже: невысокий, сутулый, с сухой левой рукой, которую он держит в кармане.

Он не подходит. Он сидит с краю и смотрит.

Лида подходит к нему сама.

— Здравствуй, Соколов.

— Здравия желаю.

— Как ты?

Он пожимает плечами.

— Ограниченно годен, — говорит он и усмехается. — Служу при складе.

— Рука?

— Рука как была.

— Покажи.

Он неохотно вынимает руку из кармана. Она тонкая, с плохо сгибающимися пальцами.

Лида берёт её и смотрит долго.

Я жду, что она скажет что-нибудь ободряющее. Что-нибудь вроде «ещё разработается».

Она говорит другое:

— Обещать полного восстановления я не могу. С таким ограничением надо подбирать работу, которую ты сможешь делать сейчас.

Соколов смотрит на неё.

— Я знаю, — говорит он.

— Знаешь, и хорошо. — Лида отпускает его руку. — Мне вот что скажи: писать можешь?

— Правой могу.

— А учёт вести? Считать, записывать?

— Ну... могу.

— Тогда иди к Шульге и скажи, что я тебя прислала, — говорит Лида. — Ему нужен человек, который умеет считать и не ворует. У него сейчас учёт запущен, а помощника не хватает.

Соколов моргает.

— А вы за меня поручитесь?

— Я поручусь за то, что ты считать умеешь, — говорит Лида. — За остальное ты сам.

За столом сначала шумно.

Потом становится тише, как всегда бывает, когда люди наелись и разомлели от тепла.

Тарасов сидит в своём углу и почти не говорит.

Он ест, кивает, отвечает односложно, и каждый раз, когда хлопает дверь — а она хлопает часто, потому что люди выходят курить, — он вздрагивает.

Не сильно. Чуть-чуть. Заметно только если смотреть.

Я смотрю.

И вижу, как один раз на это обращает внимание Ивахненко — и уже открывает рот, чтобы сказать какую-нибудь шутку, из тех, какими товарищи лечат друг друга.

И как Бойко, сидящий рядом, толкает его локтем под столом.

Ивахненко закрывает рот.

Никто не просит Тарасова рассказать.

Это, по-моему, самое удивительное в этом вечере: за столом сидят десять человек, каждый из которых умирает от любопытства, и никто не спрашивает.

Вместо этого разговор идёт про сани.

Начинает Шульга, который приехал позже всех и который, оказывается, тоже приглашён.

— А вот я вам скажу, — говорит он, накладывая себе капусты, — что я в этой деревне понял. Я, товарищи, всю жизнь думал, что лошадь — это вроде грузовика, только медленнее.

— А не так?

— А не так, — говорит Шульга. — Грузовик у тебя стоит, ты к нему подошёл и поехал. А там: хомут надо подогнать, супонь затянуть, дугу поставить. Мы с Тарасовым полдня чинили.

— Так это ж не ты чинил, — говорит кто-то. — Это Тарасов.

— А я держал! — говорит Шульга с достоинством. — Я, между прочим, держал очень удачно.

Смеются.

И Тарасов из своего угла вдруг говорит:

— Он правда держал хорошо. Он только гуж не с той стороны подавал.

Это его первая длинная фраза за вечер.

Дальше он начинает поправлять Шульгу — по делу, спокойно, объясняя, как правильно, и через десять минут он уже сидит не в углу, а ближе к середине, потому что Анна Петровна попросила его передать хлеб и он пересел.

К концу вечера он спрашивает у Бойко:

— А вещи мои где?

— На койке, где ж им быть.

— Все?

— Все. Мы ничего не трогали.

— А бритва?

— И бритва.

— Хорошо, — говорит Тарасов. — А то я думал, растащили.

И это — «а то я думал, растащили» — почему-то и есть тот момент, когда я понимаю, что парень вернулся.

Не когда его привезли на санях. Не когда его осмотрела Лида.

А вот сейчас, когда он забеспокоился о своей бритве.

Про то, как он шёл к деревне, он мне расскажет через три недели, сам, на стоянке, когда мы будем ждать вместе окончания заправки и разговор пойдёт ни о чём.

Тогда он и скажет, между прочим, про воронку, в которой ему было хорошо и из которой он еле вылез.

А сейчас я просто сижу и ем картошку.

Моторы приходят в конце февраля — восемь штук, и с ними приходит то, о чём мы в штабе бились три недели: согласованное окно ремонта.

Неделя.

Целая неделя, в течение которой полк не выполняет боевых задач и занимается матчастью.

Для нас это вещь почти неслыханная, и добывал я её тяжело, и главный мой аргумент был не про качество, а про арифметику: если мы будем ремонтировать урывками, то через месяц у нас останется десять исправных машин вместо двадцати.

Плешаков к этой неделе относится как к чуду и, соответственно, боится её потерять.

— Ты помяни моё слово, — говорит он мне в первый же день. — На третьи сутки придут и скажут: дай одну машину.

— Не придут.

— Придут.

Приходят на вторые.

Не из штаба — свои. Командир второй эскадрильи, майор Гаврилюк, человек хороший и хозяйственный, приходит ко мне с простой просьбой.

— Товарищ подполковник, мне бы двенадцатую.

— Она в ремонте.

— Так она ж почти готова. Я смотрел, там мотор стоит, всё собрано.

— Зачем тебе?

— Завтра перегон, — говорит Гаврилюк. — Мне надо два экипажа перебросить, а на чём? У меня всё разобрано.

— Возьми из резерва.

— В резерве старая, у неё расход как у паровоза.

— Зато она исправная.

Гаврилюк мнётся.

— Товарищ подполковник, ну что там осталось? День работы. Пусть доделают за ночь, и утром я её заберу.

И вот тут я делаю то, что должен, и делаю без всякого удовольствия.

Я иду с ним к Плешакову.

Плешаков встречает нас у верстака, и по его лицу видно, что он уже всё понял ещё до того, как мы открыли рот.

— Двенадцатая? — спрашивает он.

— Двенадцатая, — говорю я.

— Пойдём покажу.

Он ведёт нас к машине. Мотор действительно стоит на месте, капоты действительно закрыты, и издали она выглядит совершенно готовой.

Плешаков открывает лючок.

— Смотри, — говорит он Гаврилюку.

— Ну?

— Не «ну». Вот сюда смотри. Что видишь?

Гаврилюк смотрит и честно признаётся:

— Мотор на месте. Вот гайка без контровки, вижу. Остальное что?

— Остальное завтра проверяем по всему монтажу: крепления, соединения, управление, — говорит Плешаков. — Потом контровка, запуск и осмотр другой сменой. Это одна видимая гайка, а не одна оставшаяся работа.

— Так доведите за ночь, — просит Гаврилюк. — Мне перегон закрывать.

— Сейчас, — говорит Плешаков, — я подниму людей, которые семь часов работали и два часа как легли. Они придут и сделают за двадцать минут. И, может быть, сделают хорошо. А может быть, один из них, который не выспался, пропустит вторую такую же гайку через два метра. И через месяц ты будешь идти над заливом и думать, почему у тебя давление скачет.

Гаврилюк молчит.

— Товарищ майор, — говорит Плешаков уже мягче. — Я тебе её отдам. Завтра к вечеру. И ты на ней будешь летать год.

Я поворачиваюсь к Гаврилюку.

— Бери из резерва.

— С таким расходом?

— С таким расходом, — говорю я. — Литвинов тебе пересчитает маршрут. Пойдёшь с промежуточной посадкой.

Он уходит недовольный.

И у нас на сутки получается на одну машину меньше, чем могло бы быть, и это записано в сводке, и это мне ещё аукнется.

Но Плешаков, когда Гаврилюк уходит, говорит мне одну фразу, ради которой всё это стоило:

— Я, честно говоря, думал, ты его отдашь.

— Почему?

— Потому что все отдают, — говорит он. — Пока не прижмёт — обещают. А как прижмёт хоть чуть-чуть — так «ну это ж один разок».

Неделя проходит так, как должна проходить неделя.

Утром работают, вечером заканчивают, в двадцать три часа — всё, инструмент в ящики.

На третий день я захожу в землянку технического состава в двенадцатом часу ночи и вижу картину, которой у нас не было, наверное, с сорок первого: люди моются.

То есть у них там устроено что-то вроде бани — бочка, печка, два таза, — и человек шесть по очереди отмываются, а остальные развесили портянки и гимнастёрки на верёвке у печки и сидят в исподнем, и кто-то играет в домино.

Ерохин, увидев меня, привстаёт.

— Сиди, — говорю я. — Я на минуту.

— Товарищ подполковник, а правда, что неделю дали?

— Правда.

— И никого не будут дёргать?

— Никого.

Он садится обратно и говорит куда-то в сторону:

— Мужики, а я не верю.

К концу недели все восемь моторов стоят на машинах.

Дальше — контрольные запуски и независимый осмотр, и это делается не потому, что кто-то не доверяет Плешакову, а потому, что так надо: тот, кто собирал, смотрит хуже, чем тот, кто не собирал.

Верещагин, полковой инженер, сам назначает проверяющих из другой смены. Монтажники отвечают на их вопросы и не подсказывают, куда смотреть: правило у нас то же самое.

Запуски идут два дня.

Я стою и смотрю, как они идут, и ловлю себя на глупом: мне приятно.

Вот стоит двадцать одна машина. У каждой я знаю фамилию командира, фамилию механика и хотя бы одну особенность. На семнадцати сейчас крутятся винты. Люди, которые их готовили, выспались.

За три года это, кажется, лучшая неделя, какая у нас была.

Письмо от Марии приходит третьего марта.

Оно идёт ко мне девятнадцать дней, и это быстро.

Она пишет мелко, убористо, и первая же фраза — не «здравствуй», а:

«Паша, мы двадцать седьмого января вечером узнали про Ленинград».

Дальше она рассказывает, как это было.

Что радио у них в госпитале одно, в коридоре, и что в тот вечер туда набилось человек тридцать, и стояли в дверях палат, и одна санитарка, ленинградская, села прямо на пол.

Что потом все разошлись по работе, потому что перевязки никто не отменял.

И что она весь следующий день думала обо мне.

«Я не спрашиваю, где ты был. Я по твоим письмам за полтора года уже примерно поняла, куда ты смотришь, когда пишешь про погоду. Ты в январе написал про снег, который "у нас идёт мокрый, потому что залив рядом". Я тогда подумала и больше не спрашивала».

Я перечитываю это место дважды и понимаю, что мне надо быть осторожнее.

И тут же понимаю другое: она ведь не спрашивает.

Дальше она пишет про себя, и пишет честно, как я просил в прошлый раз.

Что устала так, что перестала замечать усталость. Что у них в феврале было тяжёлое поступление и что она четверо суток спала по три часа. Что у неё испортились руки от растворов и что она этого стесняется, и тут же приписка: «Пишу тебе про руки и чувствую себя дурой, у людей война, а я про руки».

И в конце — то, ради чего, наверное, и было всё письмо:

«Напиши мне что-нибудь про мирное. Не про то, что будет после войны, — про это мне страшно. А про какое-нибудь сегодняшнее мирное. Оно ведь бывает?»

Отвечаю я вечером, в своей землянке, при лампе.

Блокнот в вышитом чехле лежит передо мной. Чехол давно не новый: угол вытерся, на нижнем крае есть пятно, которое я отстирал, но не до конца.

Пишу.

Про мирное.

Про Ольгу Никитичну и её окно. Как мы разбирали фанеру и тряпьё, слежавшиеся за два с половиной года, как она сама забивала гвозди, потому что до войны работала в домоуправлении, и как в комнате стало светло, и как первое, что она сказала, было: «Господи, а обои-то какие грязные».

Про то, что вечером всё равно завешивают, потому что правила никто не отменял, и что она это понимает, и что ей нужно было не для ночи, а для дня.

Про Дусю на складе, которая накричала на меня за мешок у мокрой стены, и что она была права, и что я до сих пор помню, как она стояла посреди склада и командовала.

Про Тарасова пишу отдельно и без подробностей: что у нас вернулся человек, которого нашли на вторые сутки и ещё ждали с дороги, что его подобрала женщина в деревне, что мы вернули этой женщине лошадь по учёту и что теперь у неё вода приезжает на санях.

Про то, что парень первые дни сидел в углу и вздрагивал от двери, а потом заговорил про хомут и стал прежним.

Про лепёшки Анны Петровны.

Про то, что у нас неделю никто не воевал и все выспались.

А потом останавливаюсь и долго смотрю на страницу.

И пишу то, чего до сих пор не писал.

«Ты просила про мирное. Вот тебе самое мирное, что у меня есть.

Когда мы закончили с этим окном и в комнате стало светло, я стоял на табурете и держал раму, а внизу две старые женщины спорили, чем мыть обои. И я поймал себя на том, что мне не хочется уезжать.

Не потому, что там было тепло или сытно. Там было холодно, и есть у них особенно нечего.

А потому что я полтора года не был внутри чьего-то дома. Не в землянке, не в хате, где мы ночуем, не в чужой избе, где нас кормят из жалости. А в доме, где люди живут и собираются жить дальше.

И я подумал вот что. Когда-нибудь я хочу вместе с тобой разобрать своё окно. Не чужое, а своё. Чтобы было холодно, и чтобы не хватало стекла, и чтобы ты держала рейку, а я забивал гвозди, и чтобы потом стало светло и оказалось, что обои грязные.

Я не знаю, когда. Я вообще про "когда" стараюсь не думать, ты меня в этом поймёшь.

Но окно я хочу с тобой».

Перечитываю.

Хочется вычеркнуть последний абзац — по той же самой причине, по которой всегда хочется вычеркнуть такие абзацы: потому что страшно.

Не вычёркиваю.

Заклеиваю конверт, надписываю, отношу утром на почту и сдаю.

И иду на стоянку, потому что там сегодня заканчивают последние два контрольных запуска, и потому что через день-два придёт то, что всегда приходит после передышки, и мне надо принять полк готовым.

День солнечный, первый по-настоящему солнечный за месяц.

Снег на стоянке подтаял и осел, и от машин пахнет нагретым металлом — впервые за зиму, и этот запах для меня означает больше, чем календарь.

Плешаков стоит у двенадцатой, той самой, из-за которой мы неделю назад спорили с Гаврилюком.

— Ну как? — спрашиваю.

— Отдал я ему её, — говорит Плешаков. — Вчера вечером. Он на ней сегодня уже летал.

— И что говорит?

— Говорит, хорошо идёт, — Плешаков щурится на солнце. — Спасибо, между прочим, сказал.

— Кому?

— Мне, — говорит Плешаков. — Представляешь?

Глава 3



Приказ приходит в середине апреля, толстый, с приложениями, и первое, что я делаю, — откладываю первые три страницы в сторону.

Первые три страницы всегда одинаковые. В них написано, что дальняя авиация перераспределяется для поддержки операций, названы два направления — южное и балтийское, — и есть фраза про Крым, от которой у половины полка сейчас загорятся глаза, потому что там весна, там наступают, и потому что двадцатилетнему человеку кажется, что где наступают, там и надо быть.

Про Крым в этом приказе — общая задача объединения. Не наша.

Наше лежит в приложении, на четвёртой странице, мелким шрифтом, в столбик.

Балтийская база. Площадка Черницы. Срок готовности к приёму полка. Срок готовности к боевой работе с неё.

Я читаю эти две даты и считаю между ними дни, и счёт мне не нравится.

— Плешаков.

Он приходит через десять минут, в фартуке, с руками, которые он вытирает на ходу и всё равно не вытирает. Мы с ним стоим в этой землянке уже третий год в разных углах страны, и разговор начинается всегда одинаково: я спрашиваю, он отвечает не то, что я хочу услышать.

— После мартовской недели ремонта что осталось незакрытым?

— Мартовское закрыли. Три машины теперь на новых работах, их оставляю отдельной смене. Остальным до пятницы контроль перед перегоном.

— А перелёт в понедельник.

Он смотрит на приложение через моё плечо, шевеля губами.

— Значит, контроль кончается до перелёта, — говорит он. — Это хорошо.

— А не слишком мало времени на всё остальное?

— Это очень хорошо, командир. — Он садится на табурет, не спросив. — Я тебе полгода объясняю: главное не сколько дней ремонта, а где эти дни лежат. Если бы проверку пришлось заканчивать после перелёта, я бы тебе половину полка привёз в состоянии «полетит, если не трогать». А так — я закрываю контроль здесь, на своей яме, со своим инструментом и своим светом. На новом месте ямы нет, света нет, и что там за грунт, я не знаю.

— Сколько будет исправных к понедельнику?

— Восемнадцать, — говорит он и добавляет прежде, чем я успею обрадоваться: — Из них четыре я тебе отдам с оговоркой, и оговорку ты подпишешь.

— Пиши.

— И второе. — Он поднимает палец. — Смены.

Вот это и есть настоящий вопрос сегодняшнего утра, и я рад, что он его поднял сам.

Потому что можно перегнать восемнадцать исправных машин на новую площадку и получить там восемнадцать памятников. Машина без своих людей на новом месте живёт один вылет.

— Как делишь?

— Не по машинам, — говорит Плешаков. — По сменам. С каждой перелётной группой идут свои мотористы и оружейники. Для людей выделен транспортный борт: в Ил-4 сверх экипажа их не набьёшь. Инструмент тоже грузим туда, по группам. Со мной тем же транспортом летят два человека с приборами и шаблонами. Остальных — эшелоном, и они придут на четвёртые сутки.

— То есть первые четверо суток мы живём на тех, кто улетел с машинами.

— На них, — говорит Плешаков. — Поэтому я тебе назову фамилии, а ты не будешь их менять, даже если кто-нибудь в штабе скажет, что этот человек нужнее здесь.

— Не буду.

— И третье. — Он встаёт. — Подогреватель.

Ага.

— Который?

— Который новый.

Я смотрю на него.

Он смотрит на меня. У него совершенно честное лицо человека, который уже придумал, как это оформить.

— Он не наш, — говорю я.

— Он стоит у нас на площадке с января.

— Он не наш, Плешаков. Мы его получили в пользование, это записано, и северные хозяева его нам оставляли под нашу зиму. Зима кончилась.

— Командир. — Он делает шаг ближе и понижает голос, будто нас кто-то может услышать. — У них есть второй. Старый, но живой. А у нас на новом месте не будет ничего, и в апреле ночи там холодные, и я тебе на сырой площадке буду греть моторы чем? Молитвой?

И вот тут я на секунду — на одну честную секунду — с ним соглашаюсь.

Потому что он прав по существу. Нам он нужнее. Мы уходим на работу, они остаются в тылу. И оформить это можно так, что никто никогда не докажет.

— Нет, — говорю я.

— Почему?

— Потому что через два месяца мне от этих людей понадобится что-нибудь ещё. И я хочу иметь возможность попросить.

Плешаков стоит и молчит.

— И потому, — добавляю я, — что мы с ними договаривались. Забираем полковое, оставляем оговорённое. Всё.

Он кивает — тем коротким злым кивком, который у него значит «понял и всё равно недоволен», — и уходит.

А через два дня выясняется, что я был прав по причине, о которой не думал: северные хозяева, узнав, что мы уходим и ничего не выдираем, присылают нам на аэродром грузовик с четырьмя бочками годного масла из разрешённого к передаче запаса и мотком троса, который Плешаков потом будет любить сильнее собственных детей.

*

С Лидой мы прощаемся за день до перелёта, и прощаемся неудачно — потому что у неё в это время идёт приём.

Она теперь ведёт медицинскую часть на два аэродрома, у неё четыре фельдшера и кабинет с настоящим столом, и на этом столе лежат карточки, разложенные по экипажам, как она разложила их впервые в сорок первом на Кагуле, в переполненной санчасти, из спасённых ящиков.

За дверью ждут трое, фельдшер зовёт следующего; Лида дописывает назначение и отдаёт карточку через приоткрытую дверь.

— Пять минут, — говорит она, не поднимая головы. — Сядьте.

Я сажусь.

Она дописывает, потом откладывает перо и смотрит на меня — тем своим взглядом, который сначала проходит по коленям, потом по лицу, и никогда наоборот.

— Колено?

— Живёт.

— «Живёт» — это не ответ.

— Болит на погоду и после долгих ночей. Опору держит. Педаль чувствую полностью.

— Вот это ответ. — Она берёт чистый лист и что-то на нём пишет. — Держите.

— Что это?

— Это фамилии. — Она пододвигает лист. — Три человека на Балтике, к которым можно обращаться. Один в госпитале в Ораниенбауме, двое в санитарном отделе. Я им написала, они знают, что вы придёте.

— Лидия Андреевна.

— Что.

— Вы им написали обо мне или о полке?

— О полке, — говорит она. — О вас отправила отдельное письмо. Его вам не покажу.

Я смеюсь.

— Не смейтесь, — говорит она. — Там написано, что командир полка скрывает нагрузку и что ему нельзя верить, когда он говорит «я в порядке». Это медицинское сведение, а не сплетня.

Мы сидим минуту молча.

Три года. Кагул, вода, ящики, ночь на причале, Ладога, стол в землянке, и вот теперь кабинет с настоящим столом, и я ухожу.

— Вы остаётесь, — говорю я.

— Я остаюсь, — говорит она. — У меня тут госпитальная сеть, которую я два года собирала, и я её не понесу за вами в чемодане.

— Я и не предлагаю.

— Знаю. — Она снова берёт перо. — Вы вообще никогда не предлагали, и за это вам отдельное спасибо.

*

Анна Петровна меня не провожает. Она в это время кормит вторую смену и, по своему обыкновению, разговаривает со мной, не прекращая раздавать.

— Значит, уходите.

— Уходим.

— Кухню кому?

— Северным. Мы её и получили от них.

— Правильно, — говорит она и стучит черпаком по краю бачка. — А посылки я вам буду отправлять с попутными.

— Анна Петровна, там до нас неблизко.

— Так и я не пешком пойду, — говорит она. — Летают же ваши туда-сюда. Вот с ними и буду. Не спорьте, товарищ подполковник, у вас в день переезда без меня споров хватает.

*

Перелёт занимает три часа с небольшим, и последние двадцать минут я смотрю вниз и узнаю то, чего узнавать не собирался.

Вода.

Не река, не Ладога, не Дон с его лиманами. Балтийская вода — серая, плоская, с той особенной мелкой рябью, которая с высоты выглядит как шкура.

Я три года летал над всем, над чем можно летать в этой стране, и совершенно забыл, что это со мной сделает.

Внизу проходит берег: сосны, валуны, песчаная полоса, и за ней та самая шкура до горизонта. Слева, далеко, в дымке — острова, которых мне отсюда не видно и о которых я всё равно думаю.

В наушниках щёлкает внутренняя связь.

— Командир, — говорит Литвинов из передней кабины. — Ты сейчас о чём думаешь?

— С чего ты взял, что я о чём-то думаю?

— Ты держишь на два градуса правее.

Я поправляю курс, придерживая педаль: колено ещё помнит тряску на разбеге.

— Об Эзеле, — говорю я.

— Я тоже, — говорит Литвинов. — И я тебе сразу скажу одну вещь, чтобы ты потом не удивлялся, когда её скажу при штабе.

— Говори.

— Мы с тобой оттуда ушли в сентябре сорок первого. — Он говорит это ровно, своим писарским голосом, которым читает служебное. — Всё, что мы знаем про те острова, мы знаем на сентябрь сорок первого. Это два с половиной года. За два с половиной года мы с тобой три раза меняли всё в собственном полку.

— Я понял.

— Ты не понял, — говорит Литвинов. — Ты сейчас снизишься и будешь смотреть на воду. Я про это и говорю.

Черницы оказываются хуже, чем я думал, и лучше, чем боялся.

Площадка на песчаном взлобке, в трёх километрах от берега, среди сосняка. Полоса — металлические полосы, положенные поверх грунта, и по ним при посадке идёт такой звук, будто мы едем по железнодорожному мосту. Землянки есть, но мало. Столовая — брезент на жердях. Вода — в бочках, которые возят из деревни.

Зато сосны.

Сосны — это то, о чём на Дону мечтали: они прячут стоянки лучше любой сетки, и под ними сухо.

Плешаков вылезает из машины, оглядывается, нюхает воздух и говорит первое:

— Грунт песок. Значит, ямы копать легко, а машину с места сдвинуть тяжело.

Второе он говорит через полчаса, стоя у края полосы:

— И вот это железо надо перекладывать. Тут у них два стыка расходятся, и колесо на них бьёт.

На второй день Тимка приходит с узла связи с раскрытым блокнотом и уже недоволен.

— Товарищ подполковник, — говорит он, подходя с блокнотом. — Тут в сети четыре хозяина.

— В смысле?

— В смысле, что у флота своя сеть, у флотской авиации своя, у постов наблюдения своя и ещё есть общая. И они друг друга слушают через одного.

— И что?

— И то, что если нам понадобится передать что-нибудь флоту, — говорит Тимка, — оно пойдёт не по прямой, а через два узла. И я пока не знаю, сколько это займёт.

Я откладываю опись.

— Измерь по пробному сообщению. И принеси мне, на каком узле оно задержалось, — говорю я. — С этим поеду к морякам.

Он говорит это на второй день после прибытия, и это, как выяснится через неделю, самое важное, что кто-либо сказал мне за весь месяц.

*

В морской штаб я еду на третий день, и по дороге понимаю, что не был в таком помещении никогда.

Это каменное здание с широкой лестницей, по которой ходят люди в чёрном, и в этом чёрном я со своим полевым цветом выгляжу как человек, зашедший с поля в контору. На стенах — карты, но карты не такие, как у нас: у нас карта — это земля с высотами, а у них карта — это вода с глубинами, и на ней всё главное написано цифрами.

Меня ведут в оперативный отдел, и там уже сидят человек восемь.

— Подполковник Иванов, — говорю я.

— Садитесь, — говорит невысокий капитан третьего ранга с аккуратным пробором и папкой, разложенной так, как раскладывает человек, у которого сегодня четвёртое такое совещание. — Мещеряков, планирование. Введу вас в обстановку.

Он вводит хорошо: коротко, по пунктам, без лишнего. Общая задача: нарушить морские перевозки противника в юго-восточной части Балтики. Основной порт снабжения — Либава. Объекты: портовые районы, склады, судоремонт.

Потом он разворачивает схему, и на схеме нарисован прямоугольник.

Прямоугольник аккуратный, накрывающий примерно половину портовой территории, и в углу подписано: «уч. № 3».

— Вашему полку, — говорит Мещеряков, — предлагается ночная работа по этому участку. С учётом дальности — сокращённая загрузка, две-три машины по площади участка за ночь, дальше по обстановке. Мы включаем вас в расписание с двадцатого.

Я смотрю на прямоугольник.

Он красивый. Он идеально удобный: у него есть границы, у него есть номер, его можно разделить между тремя частями и потом отчитаться, что участок номер три отработан столько-то раз.

— Вопрос, — говорю я.

— Прошу.

— Какую перевозку должен прекратить результат?

Мещеряков поднимает голову.

— Простите?

— У нас задача — нарушить перевозки, — говорю я. — Я спрашиваю, какую именно перевозку должен прекратить удар по участку номер три. Что должно не приехать или не уехать.

И тут происходит то, чего я, признаться, не ожидал в таком виде.

Мне отвечают трое. Одновременно.

— Подвоз боеприпасов и горючего, — говорит подполковник интендантской службы, сидящий у окна. — По нашим данным, через Либаву идёт основная масса снабжения для группировки.

— Переброска войск, — говорит одновременно с ним человек в чёрном, разведчик. — Нам важнее не грузы, а живая сила. Они возят пополнение морем, потому что по железной дороге не успевают.

— Ослабление корабельной охраны, — говорит третий, и говорит громче остальных, потому что привык говорить на ветру. — Мне нужно, чтобы у них стало меньше тральщиков и меньше сторожевиков, потому что мои лодки из позиций выйти не могут.

Они замолкают и смотрят друг на друга.

Мещеряков смотрит в свою папку.

— Все три задачи, — говорит он, — решаются нарушением работы порта.

— Товарищ капитан третьего ранга, — говорю я. — Вы сейчас сказали замечательную вещь, и я её запомню. Но давайте я скажу, что я услышал. Трём разным службам нужны три разных результата, и каждая из них попросила у вас один и тот же прямоугольник.

Кто-то в углу хмыкает.

— И что вы предлагаете? — говорит Мещеряков без всякого раздражения, и это делает его в моих глазах серьёзным противником. — Учтите, я не спорю с вами. Я вас включаю в расписание. У меня в расписании двадцать первое число, у меня наряд сил, и мне его подписывать сегодня.

— Я предлагаю не отказ, — говорю я. — Я полечу по любой поставленной цели, и если завтра будет приказ на участок номер три, мы отработаем участок номер три. Я прошу другого. Дайте мне короткий срок и дайте мне ваши данные.

— Какие?

— Все, — говорю я. — Минёров, подводников, воздушной разведки. Мне нужно понять, какие выходы у порта работают сейчас и где у них ремонт. Потому что склады они восстановят или перенесут, а выход из порта они не перенесут никуда.

За моей спиной открывается дверь.

— Это Иванов? — говорит голос.

Я оборачиваюсь.

В дверях стоит полковник — грузный, седой на висках, с папкой под мышкой и с тем особенным выражением лица, которое бывает у людей, три года просидевших в штабах и не забывших, как выглядит человек с фронта.

Мне требуется, наверное, полторы секунды.

— Товарищ полковник, — говорю я и встаю.

— Сиди, — говорит Гордеев. — Сиди, сиди. Ты чего встал-то, я тебе не бог.

Он проходит к столу, кладёт свою папку и садится напротив меня, и мы оба секунду смотрим друг на друга.

Последний раз я видел его в сентябре сорок первого, на Кагуле, в ночь, когда я отдал ему лист с островом и уходил старшим последней группы. Он был капитаном и стоял по колено в грязи у командного пункта. Сейчас он полковник, заместитель начальника штаба по оперативной части, и у него под ногтями нет земли.

— Ну ты растолстел, — говорит он.

— Никак нет.

— Растолстел, — повторяет Гордеев с удовольствием. — Ты в сорок первом был как палка. Мещеряков, о чём спорите?

— Товарищ подполковник считает, что участок номер три — не цель, — говорит Мещеряков.

— Он не считает, — говорит Гордеев. — Он уже понял, что не цель, и теперь выпрашивает у тебя время, чтобы это доказать. Я его знаю, я с ним на острове воевал до самого ухода. Иванов, сколько тебе надо?

— Двое суток, — говорю я.

— Сутки.

— Товарищ полковник, за сутки я не соберу службы за один стол.

— За сутки не соберёшь, — соглашается Гордеев. — А за двое соберёшь и начнёшь там жить. Я тебя знаю: ты потом придёшь и скажешь, что нужны ещё двое, потому что появилось новое обстоятельство.

Он говорит это без насмешки и в самое больное место, потому что так и есть.

— Тогда давайте так, — говорю я. — Двое суток. И условие: если через двое суток я приношу вам не решение, а рассуждение, — включайте меня в расписание по участку номер три без разговоров, и я не пикну.

Гордеев смотрит на меня.

— Записать? — спрашивает Мещеряков.

— Запиши, — говорит Гордеев. — Он потом сам себя этой бумажкой и выпорет, он это любит.

Он берёт свою папку и встаёт.

— И, Иванов. Своё расписание ты не бросаешь.

— Понял.

— То есть эти двое суток твой полк работает по тому, что ему уже задано, — говорит Гордеев. — Две ночи, наряд сил как подписан. Думай сколько хочешь, но людей с работы не снимай.

— Так и планировал.

— Знаю, — говорит он. — Потому и сказал.

У двери он оглядывается и зовёт меня на два слова в коридор. Я подхожу, оставляя за спиной продолжающийся разговор у карты.

— И ещё. У меня твоя карта.

Я поднимаю голову.

— Лист Эзеля, — говорит Гордеев. — Который ты мне на Кагуле отдал. Он у меня.

Я смотрю на его папку, уже не слыша сквозь дверь Мещерякова.

— Всё это время?

— Всё это время, — говорит он. — Два штаба переезжал, а он у меня в папке лежит. Я его даже подшивать не стал, он так и лежит, сложенный вчетверо.

— Товарищ полковник...

— Не сейчас, — говорит Гордеев. — Вот когда у тебя будет задача, а не разговоры, тогда и получишь.

И выходит.

*

Стол мне дают на вторые сутки, и это не стол, а бильярдный: он стоит в бывшем клубе, сукно с него не снимали, и нам его накрыли листами картона.

Приходят четверо.

Капитан-лейтенант Ивашов, минная служба: невысокий, с обветренным лицом и привычкой во время разговора чертить ногтем по любой поверхности. Он приносит два рулона и деревянный ящик с картонными карточками.

Капитан третьего ранга Черемис, дивизион подводных лодок: длинный, сухой, с тяжёлыми веками и той медленной речью, которая у подводников, как я потом пойму, не от характера, а от привычки говорить так, чтобы с первого раза.

Старший лейтенант Кулешов, дешифровщик воздушной разведки: молодой, в очках, с двумя папками снимков и с явным ощущением, что его позвали не по адресу.

Глава 4



И разведчик в чёрном, который был на совещании и который представляется просто:

— Никольский. Разведотдел.

Литвинов раскладывает нашу основу — большой лист порта, склеенный из трёх, — и кладёт рядом свои карандаши.

— Значит так, товарищи, — говорю я. — Прежде чем начнём. У меня одна просьба, и от неё будет зависеть всё остальное.

— Слушаем.

— Каждый значок, который вы сегодня поставите на этот лист, — говорю я, — вы подпишете датой.

Пауза.

— Датой чего? — спрашивает Ивашов.

— Датой наблюдения, — говорю я. — Не датой донесения, не датой, когда вам это передали. Датой, когда это видели глазами, прибором или с воздуха.

— А если я не знаю точной? — говорит Никольский.

— Тогда пишите месяц. А если не знаете месяца — пишите «до». «До января».

Черемис пока не водит лодки к Либаве: их держит закрытый выход из Финского залива. Он здесь именно затем, чтобы подготовить будущие позиции и сразу отсечь обещания, которые флот сейчас выполнить не может.

Черемис медленно поднимает веки.

— А зачем? — спрашивает он.

— Затем, — говорю я, — что я вчера полтора часа смотрел на схему участка номер три и в конце понял, что смотрю не на порт.

— А на что?

— На три порта, — говорю я. — Нарисованных в одном месте.

Я подхожу к стене, где висит их схема.

— Вот батареи, — говорю я. — Часть из них я нашёл в сводке за октябрь. Вот боновые заграждения — это, если я правильно понял, январь. Вот отметки о судоремонте — тут вообще нет даты, значок стоит с пометкой «по данным опроса». А вот фарватер, и он свежий, потому что его чистили в марте.

Я поворачиваюсь.

— И всё это нарисовано одним цветом, в одном масштабе, на одном листе. И человек, который на это смотрит, думает, что видит порт. А видит он октябрь, январь и март, наложенные друг на друга.

Ивашов первым ставит на стол свой ящик с карточками.

— У меня по каждой постановке дата есть, — говорит он. — И глубина есть.

— Давайте с вас.

Дальше идёт то, из-за чего я, собственно, и просил эти двое суток.

Ивашов выкладывает своё, и его знание — самое твёрдое из всех, потому что минёр знает не то, что он видел, а то, что он сам положил. Он показывает, где стоят наши постановки, где чужие, где фарватер, который они чистят, и где то, что они называют «прибрежным проходом», а он называет «щелью, куда нормальное судно не пойдёт, а мелкое пойдёт».

Черемис слушает и один раз перебивает:

— Восемнадцать метров?

— На внешнем рейде восемнадцать, — говорит Ивашов. — У внешнего края больше.

— Тогда я туда не пойду, — говорит Черемис. — Мне под этим боном лежать негде.

— Я вам и не предлагаю, — говорит Ивашов. — Узость у самых ворот отдельно, там другие глубины. Я сейчас показываю внешний путь.

Кулешов выкладывает снимки, и вот тут начинается то, чего я ждал и чего немного боялся.

Его материал красивый. Это хорошие снимки, чёткие, со тенями, и на них видно всё: причалы, портовые краны, вагоны, суда у стенки. И он выкладывает их как человек, который две недели над ними сидел и знает каждый квадрат.

— Вот, — говорит он. — Вот у второго причала транспорт. Судя по размеру — тысяч на шесть. Вот, на снимке от девятого, он у стенки, идёт погрузка: видите, краны в работе, на причале штабеля. На снимке от четырнадцатого он там же.

— Готов к выходу? — спрашивает Мещеряков, который пришёл через час после начала и сел в углу.

— Судя по погрузке — да, — говорит Кулешов.

— Нет, — говорит Черемис.

Все поворачиваются.

Он неторопливо тянется через стол, берёт снимок от четырнадцатого и держит его на вытянутой руке, потому что вблизи, видимо, уже не видит.

— Он не готов к выходу, — говорит Черемис. — Он в ремонте.

— С чего вы взяли? — говорит Кулешов, и в голосе у него та обида, которая бывает у специалиста, когда в его область влезает чужой.

— С того, что у него с правого борта стоит лихтер, — говорит Черемис. — Вот. А у лихтера на палубе — что?

— Не знаю. Какие-то...

— Это баллоны, — говорит Черемис. — И шланги. Если у судна у борта стоит лихтер с баллонами и шлангами и там же люди на лесах, то это не погрузка, это сварка. И вот сюда посмотрите. — Он ведёт ногтем. — Кормовая часть. Тут у него не так стоит.

— Как «не так»?

— Он на ровный киль не сидит, — говорит Черемис. — Он корму притопил, чуть-чуть. Так делают, когда работают в носовой части у воды.

В комнате становится тихо.

Кулешов берёт лупу и долго смотрит.

— Не могу подтвердить, — говорит он наконец, и я про себя ставлю ему за эту фразу высокую оценку. — Лихтер вижу. Что на палубе — не разберу. Что корма притоплена, вижу теперь, когда сказали, а сам не заметил, потому что у меня нет ватерлинии для сравнения.

Я подвигаю Кулешову карандаш.

— То есть ваше «готов к выходу» пока только предположение?

— То есть моё «готов к выходу» — это моё предположение, — говорит Кулешов. — По погрузке.

— Ставьте на лист как предположение, — говорю я. — С датой.

— Товарищ подполковник, — говорит Мещеряков из угла. — Вы сейчас сами себе портите цель.

— Порчу, — соглашаюсь я.

— У вас был транспорт у второго причала. Хорошая, крупная, стоящая цель. А теперь у вас на листе написано, что это, может быть, ремонтирующееся судно.

— Именно, — говорю я. — И это лучше, чем если бы я узнал об этом на разборе после вылета.

Никольский, молчавший почти всё время, вдруг говорит:

— Я, пожалуй, добавлю, раз пошло такое дело.

— Добавляйте.

— У меня есть сведения о ремонте, — говорит он. — Не о конкретном судне, а вообще. От двадцать восьмого февраля, от человека, который в порту работает.

— Что именно?

— Что у них зимой в плавучем доке стояли по очереди четыре единицы и все четыре ушли своим ходом.

Литвинов, который до этого говорил ровно четыре раза за два часа, поднимает голову.

— Плавучий док?

— Плавучий док, — говорит Никольский. — Вот он, в третьем бассейне. Вот.

И он ставит на лист карандашом маленький прямоугольник с двумя стенками — почти как ворота в плане.

— Дата? — спрашивает Литвинов.

— Февраль, — говорит Никольский. — Двадцать восьмое.

— А сейчас?

— А сейчас не знаю.

*

К вечеру у нас получается то, чего не было утром, и оно некрасивое.

На листе теперь три цвета: то, что наблюдалось за последнюю неделю; то, что за месяц; и то, что старше. Старше — половина.

Но зато теперь никто не спорит.

Это, если честно, главное приобретение суток. Утром люди спорили о разных портах, не понимая этого: подводник имел в виду один порт, интендант — другой, дешифровщик — третий. К вечеру они смотрят в один и тот же лист, и на нём написано, чего мы не знаем.

— Итог, — говорю я. — Товарищи, я скажу, и вы поправьте.

Я подхожу к листу.

— Снабжение сейчас реально идёт через третий и четвёртый причалы северной части, — говорю я. — Это подтверждено: погрузка наблюдалась воздушной разведкой девятого, четырнадцатого и семнадцатого, железнодорожные подходы туда работают.

— Подтверждаю, — говорит Кулешов.

— Второй причал — под вопросом. Возможен ремонт.

— Под вопросом, — говорит Кулешов.

— Судоремонт есть, в третьем бассейне, — говорю я. — И он сильнее, чем я думал, потому что у них там плавучий док, и через этот док зимой прошли четыре единицы.

— По февралю, — говорит Никольский.

— По февралю, — соглашаюсь я. — Дальше. Выход из порта один. Вот. Ворота между молами, и дальше канал.

— Один, — говорит Ивашов. — Прибрежный проход — не выход. Там глубина не для них.

— И вот здесь, товарищи, — говорю я, — у меня к вам вопрос, на который у нас сегодня нет ответа и на который я хочу получить ответ послезавтра.

— Какой?

— Что для них сейчас узкое место, — говорю я. — Не что мы можем разрушить. А без чего у них остановится перевозка.

Черемис медленно опускает веки и поднимает их.

— Хороший вопрос, — говорит он. — И я вам на него не отвечу.

— Почему?

— Потому что сейчас я знаю о них по морским и разведывательным донесениям, — говорит он. — До своих позиций в открытой Балтике мы ещё не добрались. Что у них внутри порта — не моё.

— А по морю что скажете?

— По морю скажу, — говорит Черемис. — За февраль и март у них выросло число выходов с ремонта. Я свёл три донесения разведки: снова отмечены единицы, которые в январе числились повреждёнными. Из этого ещё нельзя вывести полный срок ремонта, но молча оставлять их мёртвыми на карте нельзя.

Он произносит это и сам, кажется, впервые слышит, что сказал.

Литвинов поднимает карандаш.

— Товарищ капитан третьего ранга, — говорит он. — Повторите, пожалуйста.

— Повреждённые суда возвращаются в перевозки быстрее, чем должны, — говорит Черемис.

— Спасибо, — говорит Литвинов и пишет это на листе, прямо рядом с прямоугольником дока, и обводит рамкой.

*

В час ночи я звоню в Черницы, потому что там в это время мой полк работает без меня.

Это, если честно, худшая часть всей затеи, и Гордеев это знал, когда ставил условие. Он не сказал: думай двое суток. Он сказал: думай двое суток и не снимай людей с работы. То есть пока я тут раскладываю карточки с датами, шесть моих машин уходят на Псков, и ведёт их Зорин, и всё, что я могу, — это стоять в коридоре у телефонного аппарата и ждать соединения.

Телефон дают в штабной комнате дежурного, аппарат старый, с трубкой на шнуре, и слышно так, будто говорят из бочки.

— Зорин.

— Это я. Как?

— Ушли все шесть в двадцать два десять, — говорит Зорин. — Погода по маршруту как давали. Вернулись пять.

У меня внутри что-то делает короткий оборот.

— Шестая?

— Шестая села на запасном. Экипаж живой. Мальцев.

— Что у него?

— Зенитка на отходе, — говорит Зорин. — Пробило масляный на правом. Он его выключил, дотянул на левом до запасного и сел. Радист ранен в бедро, перевязан, его увезли в госпиталь. Остальные целы.

— Машина?

— Машина стоит. Плешаков утром поедет с двумя людьми.

Я стою с трубкой у уха и смотрю на выщербленную стену.

Час ноль пять. Если бы я был там, я бы сейчас стоял на полосе и слушал воздух. Толку от этого не было бы никакого — Мальцев всё равно сел бы там, где сел, а радисту всё равно понадобился бы госпиталь, — но я бы стоял.

— Зорин.

— Слушаю.

— Ты в докладе про шестую как пишешь?

— Так и пишу, — говорит он. — «Повреждение зенитным огнём на отходе, посадка на запасном, экипаж жив, машина требует замены мотора».

— Хорошо.

— И ещё одно, — говорит Зорин, и по паузе я слышу, что это он оставил на конец нарочно. — У меня Кривцов вернулся с бомбами.

— Почему?

— Потому что не опознал.

Я сажусь на подоконник.

— Подробно.

— Он шёл третьим, — говорит Зорин. — К его времени над узлом стояла дымка и наши же пожары, и створ он потерял. Свои признаки не нашёл — ни выемку, ни изгиб. Покрутился, ещё раз зашёл, не нашёл и повёз обратно.

— Сел с бомбами?

— Сел с бомбами. Аккуратно, я сам его встречал.

— Что ты ему сказал?

— Сказал: правильно, — говорит Зорин. — А потом отвёл в сторону и спросил, почему он мне про это не доложил в воздухе, а доложил на земле.

— И что он?

— А он сказал, что боялся, что я ему прикажу бросать.

Мы оба молчим секунды три, и в этой пустой телефонной тишине что-то щёлкает, шипит, и далеко кто-то чужой говорит: «алло, алло».

— Зорин, — говорю я. — Запиши это и принеси мне послезавтра. Своими словами, как он сказал.

— Зачем?

— Затем, что я послезавтра буду договариваться с моряками о том, при каких условиях мы не сбрасываем, — говорю я. — И мне будет нужно, чтобы это было не моё красивое обещание, а то, что у нас только что случилось этой ночью.

— Понял, — говорит Зорин. — Товарищ подполковник.

— Что.

— Вы там долго ещё?

— Сутки.

— Тогда я вторую ночь тоже поведу.

— Веди, — говорю я. — И, Зорин. У тебя утром люди будут спрашивать, где командир полка.

— Уже спрашивали, — говорит он.

— И что ты сказал?

— Что командир полка выпрашивает нам работу, за которую не придётся отчитываться участками, — говорит он. — Вы уж, пожалуйста, выпросите.

*

Утром третьего дня Кулешов приезжает без предупреждения, и по его лицу видно, что он не спал.

— Товарищ подполковник, — говорит он с порога. — Транспорт ушёл.

— Какой?

— Второго причала. Ночной проход был вчера, я всю ночь проявлял. Его нет. Причал пустой.

Он раскладывает снимок.

Причал действительно пустой. Там, где на снимках от девятого и четырнадцатого стояла та самая крупная, стоящая цель, на которую так хорошо было бы положить серию, — вода и швартовные тумбы.

— Ну вот и всё, — говорит Мещеряков, вошедший следом. Он, кажется, обрадовался. — Товарищ подполковник, вы вчера сами сказали, что это, возможно, ремонт. Он отремонтировался и ушёл. Значит, участок номер три работает, и я вас в него включаю.

— Подождите, — говорит Кулешов.

— Что?

— Там другое, — говорит он. — Там, в третьем бассейне.

Он выкладывает второй снимок.

И я смотрю на него и первые секунды не понимаю, что вижу, потому что вижу слишком много железа в одном месте.

— Вот док, — говорит Кулешов и показывает. — Вот его стенки. А вот это что?

— Это буксиры, — говорит Литвинов.

— Сколько?

— Три, — говорит Литвинов и наклоняется ниже. — Нет. Четыре. Один мелкий у дальней стенки.

Четыре буксира у плавучего дока в шесть утра.

— И он поднят, — говорит Кулешов. — Смотрите, у него борта выше, чем на февральском. Он откачан.

— Что это значит? — спрашивает Мещеряков.

Отвечает Литвинов, и отвечает он не Мещерякову, а мне:

— Это значит, что его собираются тащить.

*

Мы сидим над этим два часа, и за эти два часа задача у меня меняется полностью.

— Давайте по порядку, — говорю я. — Литвинов, вслух.

— Вслух так, — говорит он. — У нас было три функции, и мы их толком не связали. Теперь я их связываю.

Он берёт карандаш.

— Первое. Железнодорожный выход. Вот. Груз приходит по железной дороге, перегружается на суда у третьего и четвёртого причалов. Это подвоз, и это самое очевидное.

— Дальше.

— Второе. Ремонт. — Он стучит карандашом по прямоугольнику дока. — Повреждённые суда возвращаются в перевозки быстрее, чем должны. Это Черемис, это его люди в море видели. Значит, док работает, и работает хорошо.

— И третье?

— А третье — вот, — говорит Литвинов и ведёт карандашом по узкой полосе между молами. — Ворота. Один выход. Всё, что входит и выходит, идёт через них.

Он выпрямляется.

— И вот теперь, товарищ подполковник, у нас две новости.

— Давай плохую.

— Плохая та, что док уходит, — говорит Литвинов. — Если они его вытащат и уведут, ремонт из Либавы уедет вместе с ним. И мы ничего не сделаем, потому что мы его уже не найдём.

— А хорошая?

— А хорошая та, что для того, чтобы его увести, — говорит Литвинов, — им надо протащить его через ворота.

Я смотрю на этот узкий проход между двумя молами, на который я вчера смотрел как на выход из порта, а сегодня смотрю как на горло.

— Мещеряков, — говорю я. — Дайте мне ваш прямоугольник.

Он подаёт схему.

— Смотрите, — говорю я. — Вот участок номер три. Вот что в нём. Склады, мастерские, часть причалов. Если мы за три ночи положим туда всё, что можем, мы сожжём склады и снесём крыши мастерских. Это ущерб.

— Это ущерб, — соглашается Мещеряков.

— А теперь скажите мне, — говорю я. — Что из этого помешает им протащить док через ворота?

Пауза.

— Ничего, — говорит Мещеряков.

— И что из этого не даст повреждённому судну вернуться в перевозки?

— Тоже ничего, — говорит он. — Док не в участке.

— Он вообще-то на границе, — говорит Кулешов.

— На границе — значит, не в участке, — говорит Мещеряков, и я вижу, что он это говорит уже не как планировщик, а как человек, которому стало интересно.

*

Инженера приводят после обеда, и приводит его сам Гордеев.

— Иванов, — говорит он с порога, — я слышал, ты хочешь топить док.

— Я хочу его остановить.

— Это ты сейчас так говоришь, — говорит Гордеев. — А в донесении напишешь «потоплен». Вот, знакомься: инженер-капитан второго ранга Гурьев. Он двадцать лет доки строит и чинит. Гурьев, скажи ему.

Гурьев — пожилой, с портфелем и с той неторопливой основательностью, которая бывает у людей, работавших с очень большими вещами.

Он подходит к листу, смотрит на прямоугольник дока, потом на меня.

— Какая у вас бомба? — спрашивает он.

— В основном сотки и двести пятидесятки. По дальности — сокращённая загрузка.

— Так, — говорит Гурьев. — Тогда слушайте.

Он ставит портфель.

— Плавучий док — это железный ящик, — говорит он. — Понтон, на нём две башни-стенки. Внутри он разделён на отсеки. У среднего дока таких отсеков может быть двадцать, тридцать, сорок. Каждый — отдельный.

— То есть?

— То есть потопления вы себе не гарантируете, — говорит Гурьев. — Вы можете пробить ему три отсека, пять, восемь. Он сядет глубже, накренится, у него начнутся неприятности с прочностью. Но он не утонет, потому что тонуть ему нечем: в нём воздух в тридцати коробках, и половина из них останется целой.

— А если попасть в стенку?

— В башню? — Гурьев чуть улыбается. — Пробьёте башню — испортите ему кран, лебёдки, помещения. Он может сохранить плавучесть.

— Хорошо, — говорю я. — Значит, в донесении не будет слова «потоплен».

— И слова «уничтожен» тоже не будет, — говорит Гурьев.

— Согласен.

— И бессрочного «выведен из строя», — говорит Гурьев, — потому что док, простоявший год у стенки с пробитыми отсеками, — это док, который через год откачают и он будет работать.

Гордеев у края стола негромко говорит:

— Гурьев, ты у него сейчас всю задачу отнимешь.

— Не отниму, — говорит Гурьев. — Я ему отнимаю слова. Задача у него как раз останется, если он её правильно назовёт.

Он поворачивается ко мне.

— Скажите, вам что нужно: чтобы док перестал существовать или чтобы он не уехал?

И вот это тот самый вопрос, ради которого стоило три дня сидеть в чужом штабе.

Глава 5



— Чтобы он не уехал, — говорю я. — И, если повезёт, чтобы он застрял в воротах.

Гурьев кивает так, будто я сдал экзамен.

— Тогда вам нужны не его отсеки, — говорит он. — Вам нужно его обслуживание и его положение.

— Разъясните.

— Док не имеет хода, — говорит Гурьев. — Совсем. Это кусок железа с огромной парусностью: две высокие стенки, ветер в них берёт, как в парус. Его тащат буксирами: один ведущий на длинном тросе впереди, остальные по бортам и с кормы, и они не тянут, они держат. Понимаете?

— Держат от разворота.

— Держат от разворота, — говорит Гурьев. — В открытом море это ещё терпимо. А в канале между молами у вас габарит. Там от стенки дока до кромки мола — считанные метры. И если у вас пропадает буксир, который держит корму, док начинает разворачиваться. Он не останавливается: он идёт по инерции и одновременно разворачивается.

— И?

— И садится в проход поперёк, — говорит Гурьев. — И вот это, товарищ подполковник, будет очень надолго. Потому что снять его оттуда — это работа не на неделю. Тут вам нужны будут и буксиры, и водолазы, и хорошая погода, и, главное, надо будет чем-то отжимать его с мели, а он тяжёлый и сидит.

В комнате несколько секунд никто ничего не говорит.

— Значит, буксиры, — говорю я.

— Буксиры и время, — говорит Гурьев. — А ещё три вещи, которых у вас на листе нет и без которых вы точного плана не построите.

— Называйте.

— Глубина в проходе и его фактическая осадка, — говорит Гурьев. — Откачанный док сидит меньше, но он всё равно не щепка. Второе: сколько у них буксиров и какие. Четыре по снимку — это четыре в кадре. Может быть шестой, который стоял за сараем.

— Третье?

— Третье — уровень, — говорит Гурьев. — У нас тут не океан, прилива нет. Но в Балтике ветер гоняет воду. При устойчивом западном её нагоняет, при восточном сгоняет, и разница бывает до полуметра и больше. Полметра для дока в канале — это очень много.

— То есть погоду они будут выбирать.

— Они её уже выбирают, — говорит Гурьев. — Они не пойдут при свежем ветре: у них парусность. Они пойдут при тихой погоде и при подходящем уровне. И, если начальник порта не дурак, пойдут в темноте.

— Он не дурак, — говорю я.

— Тогда у вас, — говорит Гурьев, — очень узкая работа. Вам надо оказаться над воротами в тот час, который выберут они.

*

А вечером на меня наваливается интендант, и это оказывается самый трудный спор недели, потому что он единственный, в котором я не уверен до конца.

Подполковник Шубин сидит в штабе тыла, и он приходит сам, с папкой, в которой лежат ведомости.

— Товарищ подполковник, — говорит он, — я вас послушал на совещании и всё понял. Только вы мне объясните одну вещь.

— Слушаю.

— Вот вы сейчас будете ловить железный ящик. Хорошо. А я вам покажу цифры.

Он раскладывает ведомости, и цифры у него настоящие: столько-то тонн боеприпасов, столько-то горючего, столько-то по неделям, с оценками.

— Вот это идёт через Либаву, — говорит Шубин. — И приходит это туда не морем, а по железной дороге. Вот сюда, в порт, на третий и четвёртый причалы. Через железнодорожный выход. Вы сами мне два дня назад это доказывали.

— Доказывал.

— Тогда почему выход из порта — ворота, а не рельсы? — говорит Шубин. — Разбейте им горловину железнодорожного подхода к порту, и у них на причалах будет пусто. Это ваша же логика, товарищ подполковник. Я её от вас и взял.

И вот тут я на минуту становлюсь абсолютно честно неправ.

Потому что он прав в логике. Он взял мой же способ думать и применил его правильно, и если бы у меня было двадцать ночей и триста километров дальности, я бы сейчас с ним согласился и занялся рельсами.

— Литвинов, — говорю я. — Иди сюда.

Литвинов приходит с листом.

— Товарищ подполковник Шубин предлагает железнодорожный выход, — говорю я. — Посчитай вслух, и считай не в мою пользу.

Литвинов садится.

— Считаю не в вашу пользу, — говорит он. — Железнодорожный выход портового узла — это хорошая функциональная цель. Мы такие уже делали, и мы знаем, как это работает: горловина, водоснабжение, подвод материала. Тут то же самое.

— И?

— И у этой цели есть свойство, которое нам сегодня не подходит, — говорит Литвинов. — Её восстанавливают. Быстро. Не потому, что мы плохо работаем, а потому что это рельсы.

— Значит, ходить чаще, — говорит Шубин.

— Значит, ходить чаще, — соглашается Литвинов. — И вот тут считаем. Дальность до Либавы от Черниц такая, что мы идём с сокращённой загрузкой. Это раз. Ночь у нас укорачивается, и к концу мая работать там будем уже в сумерках или не будем совсем. Это два. Наряд у нас не двадцать машин в ночь, а шесть-восемь, потому что остальные в этот момент или в ремонте, или на другой задаче. Это три.

Он поднимает голову.

— Товарищ подполковник, чтобы держать железнодорожный выход закрытым, нам надо ходить туда через ночь весь май. У нас на это нет ни ночей, ни машин, ни горючего. Мы сможем закрыть его на сутки, потом ещё раз на сутки, и на этом кончимся.

— А ворота?

— А ворота — это один раз, — говорит Литвинов. — Один раз, в один час, и после этого порт не работает не сутки.

Шубин смотрит на свои ведомости.

— То есть вы выбираете ворота не потому, что они важнее, — говорит он медленно, — а потому, что вы их можете.

— Именно, — говорю я.

Он поднимает глаза.

— Это честно, — говорит он.

— Товарищ подполковник, — говорю я. — Но у меня к вам предложение, и оно вам, может быть, понравится больше моего отказа.

— Ну?

— Железнодорожный выход надо бить, — говорю я. — Вы правы. Только не мной.

Мещеряков, который весь этот разговор просидел в углу молча, вдруг поднимает голову.

— Поясните, — говорит он.

— У вас в расписании, — говорю я, — есть части, которым до Либавы гораздо дальше, чем мне, и есть те, кому ближе. У меня дальность большая и загрузка маленькая. У фронтовой авиации наоборот: им не дотянуть до порта ночью и сидеть там час, зато у них есть машины, которым до железнодорожного узла в глубине — обычная работа, и они могут ходить туда через сутки и возить нормальный вес.

— То есть вы предлагаете отдать цель.

— Я предлагаю отдать цель тому, у кого она получится, — говорю я. — И это, между нами, освободит вам мою строчку в расписании.

Мещеряков берёт карандаш.

Вот это тот момент, которого я ждал третий день, и он наступил не из-за моего красноречия. Он наступил потому, что человеку с расписанием впервые предложили не спор, а заполненную клетку.

— Вы понимаете, что если я так сделаю, — говорит он, — то за железнодорожный выход мне будут докладывать другие, а за ворота — вы один?

— Понимаю.

— И что если у вас не выйдет, вы останетесь с пустой строкой за май?

— Понимаю.

— Хорошо, — говорит Мещеряков и пишет. — Тогда я вас из участка номер три вынимаю и ставлю на отдельную задачу. И вот теперь, товарищ подполковник, я вам не завидую.

— Почему?

— Потому что вы у меня теперь единственный, — говорит он, — кто отчитывается не количеством вылетов.

Шубин собирает свои ведомости и уже у дверей говорит:

— А если у них док уйдёт до вас?

— Тогда я приду к вам и попрошу железнодорожный выход, — говорю я. — И вы мне его не дадите, потому что уже отдадите другим.

— Дам, — говорит Шубин. — Вторую очередь дам.

*

Моряки собираются на следующий день, и это уже не разговор специалистов. Это торг.

Их четверо. Капитан первого ранга Вьюгин из оперативного отдела — сухой, вежливый, с тем видом, который у старших моряков означает, что он всё уже решил, но послушает. Черемис. Ивашов. И капитан-лейтенант Дробыш, командир дивизиона торпедных катеров, — молодой, коротко стриженый, с обветренным до кирпичного цвета лицом и с манерой сидеть так, будто его сейчас позовут бежать.

Дробыш начинает первым и начинает грубо.

— Товарищ подполковник, — говорит он. — Я вас послушал и хочу сказать прямо: мне ваш док не нужен.

— Слушаю.

— У меня катера. — Он кладёт на стол кулак. — В доступной мне части Финского залива идут их конвои, и у меня есть точки, где я их могу взять. А вы пока рисуете Либаву, до которой моим катерам ещё надо получить путь и базу. Мне нужно, чтобы ваши бомбардировщики шли по конвоям, которые уже вышли. По транспортам в море. Вот это — перевозки. А железный ящик в бассейне — это ваша фантазия.

— Дробыш, — говорит Вьюгин негромко.

— Товарищ капитан первого ранга, я по существу, — говорит Дробыш. — Я не про фантазию, я про то, что нас просят ждать. Меня просят держать дивизион в готовности неизвестно сколько, потому что, может быть, когда-нибудь они потащат док, и тогда, может быть, авиация сорвёт буксировку, и тогда, может быть, кто-то выйдет, и я его, может быть, встречу.

Он поднимает глаза.

— Это четыре «может быть», — говорит он. — А у меня люди и моторесурс.

Он прав.

Это надо сказать себе честно и сразу: он абсолютно прав, и если я сейчас начну ему объяснять про функции и узкие места, я его потеряю.

— Согласен, — говорю я.

Дробыш замолкает.

— Четыре «может быть» — это много, — говорю я. — Давайте я уберу два.

— Убирайте.

— Первое, — говорю я. — Я не прошу вас ждать неизвестно сколько. Мне самому нельзя ждать неизвестно сколько, и вот почему.

Я показываю на календарь на стене клуба, — обычный, отрывной.

— У меня кончается ночь, — говорю я.

Вьюгин чуть поднимает брови.

— Поясните.

— Мы летаем в темноте, — говорю я. — Дальность до Либавы такая, что нам нужна темнота на весь путь: подход, работа, отход. Сейчас апрель, у меня темноты хватает. В мае её станет меньше. К середине июня у меня над целью будут сумерки, а над морем на обратном пути — почти день.

— И что тогда?

— А тогда я пойду туда всё равно, если будет приказ, — говорю я. — И потеряю людей. Поэтому мне нужно, чтобы это случилось в мае. Мне нужно даже сильнее, чем вам.

Дробыш смотрит на меня уже иначе.

— Второе, — говорю я. — Я не прошу вас ждать вообще. Я предлагаю связку, и в этой связке у каждого своя работа, а не общая надежда.

Я подхожу к листу.

— Мы делаем одно: мы срываем буксировку в воротах и сообщаем положение.

— Сообщаете кому?

— Вам. Одной короткой передачей через береговой пост, с условным словом.

— А мы что делаем?

— А вы работаете по тому, что выйдет, — говорю я. — В своих секторах. И вот это главное: секторы разводим заранее, и я в них не лезу. Ни одна моя машина не пойдёт в тот квадрат, где будут ваши катера или лодки. Ни при каких обстоятельствах, ни за какой уходящей целью.

— Это вы обещаете, — говорит Дробыш.

— Это я записываю, — говорю я. — И это повторит при вас командир эскадрильи, который поведёт группу, потому что обещание командира полка ничего не стоит, если его группа в воздухе решит иначе.

— Хорошо, — говорит Вьюгин. — Теперь наши условия.

Он говорит «наши условия» так спокойно, что я сразу понимаю: они их обсудили заранее.

— Первое, — говорит Вьюгин. — Срок. Мы не будем держать силы в готовности всю ночь ради вашего часа. Вы даёте нам расчётное время, и мы держим готовность от него минус тридцать и плюс сорок. После этого мы свободны и уходим на свои задачи.

— Согласен.

— Второе. Признак. — Вьюгин смотрит на меня. — Мы не выйдем на перехват по вашему расчётному часу. Мы выйдем по подтверждению того, что удар состоялся.

— Какому?

— Вот это и есть вопрос, — говорит Вьюгин. — И я не приму фразу «мы отработали по цели». У вас может быть отработано, а док может идти дальше.

Он прав второй раз, и это уже почти неприлично.

— Тогда так, — говорю я. — Я даю вам не «отработали», а наблюдаемое положение.

— Как это?

— Три варианта, три условных слова, — говорю я. — Первое: буксировка сорвана, док в проходе или у прохода, движение прекратилось. Второе: буксировка повреждена, но док продолжает движение. Третье: цель не опознана, работа не производилась.

Черемис медленно кивает.

— Третье мне нравится больше всего, — говорит он.

— Почему?

— Потому что мне за три года никто ни разу не передал «работа не производилась», — говорит он. — Мне передавали или «выполнено», или молчали. Оба варианта одинаково бесполезны.

— Кто передаёт? — спрашивает Вьюгин.

— Наблюдение — экипаж, который остаётся над районом после ударной группы, — говорю я. — Передача — через береговой пост, который ближе всех к вашему узлу. И вот здесь мне нужна помощь, потому что моё донесение до вас идёт через два узла, и я не знаю, сколько времени оно идёт.

— Сколько?

— Не знаю, — говорю я. — И это меня беспокоит больше, чем док.

Вьюгин впервые за разговор делает пометку у себя.

— Проверим, — говорит он. — Дадим вам прямой канал на время операции.

— Мне не нужен новый канал, — говорю я. — Мне нужно знать время прохождения по существующему. У меня есть человек, который это измерит, если ему разрешат работать с вашим узлом два дня.

— Разрешим.

Дробыш всё это время молчит, потом говорит:

— Тридцать минут до и сорок после. Товарищ подполковник, вы понимаете, что это значит?

— Понимаю, — говорю я. — Это значит, что если я опоздаю на час, вас не будет.

— Не будет, — говорит Дробыш.

— И если у меня над целью окажется погода, и я приду на сорок минут позже расчётного, вас тоже не будет.

— Не будет.

— Принимаю, — говорю я.

Он смотрит на меня, потом протягивает руку через стол.

— Тогда готовим вместе, — говорит он. — Но боевой выход подтвердим после того, как у нас будут достижимые позиции, а не только этот лист.

*

Игру назначают на двадцать шестое, и ведёт её Гордеев.

Я этого, если честно, ждал и одновременно боялся, потому что знаю его манеру: он не проверяет, хорош ли план. Он проверяет, что от плана останется, когда всё пойдёт не так.

Играем в том же клубе, на бильярдном столе. Сукно опять накрыто картоном, на картоне — план порта и прилегающей воды, масштаб большой, видно и молы, и бассейны. Вместо кораблей — деревянные плашки, которые Гурьев сам выпилил по обводам и подписал химическим карандашом. Док — длинная серая плашка. Буксиры — четыре маленьких. Наши группы — фишки с номерами.

За столом: я, Литвинов, Зорин, Мещеряков, Вьюгин, Черемис, Дробыш, Ивашов, Гурьев, Кулешов и Тимка в углу с блокнотом, потому что я его привёл специально.

Гордеев ставит на край стола часы.

— Время в игре идёт втрое быстрее реального, — говорит он. — Вводные подаю я. Возражать мне можно, спорить со мной нельзя. Начали. Ноль часов двадцать минут, погода тихая, ветер северо-восточный два балла, уровень на полметра ниже среднего. Кулешов.

— Дневное наблюдение показало готовность буксиров, — говорит Кулешов. — Док откачан.

— Ваша группа?

— Первая группа на подходе, — говорит Литвинов. — Расчётное время над воротами — ноль часов пятьдесят.

Гордеев двигает плашки.

— Ноль сорок. Док выходит из бассейна и идёт к каналу. Первая группа?

— Обозначаю, — говорит Литвинов. — Опознание по молам и створу ворот, светящая одна.

— Ноль пятьдесят две, — говорит Гордеев. — Первая группа работает по головному буксиру. Иванов, попадание?

— По расчёту одна серия из трёх ложится накрытием, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Гордеев. — Даю: головной буксир поражён, потерял ход, лёг в дрейф у западной кромки.

Он передвигает маленькую плашку.

Дробыш подаётся вперёд.

— Всё, — говорит он. — Это всё. Он без ведущего.

— Не всё, — говорит Гурьев.

— Почему не всё?

— Потому что у него инерция, — говорит Гурьев. — Дайте я вам покажу.

Он берёт серую плашку и медленно, очень медленно ведёт её вперёд.

— Он идёт, — говорит Гурьев. — Тысячи тонн. Ведущий буксир умер, но док-то ползёт. И у него ещё три буксира: два по бортам, один на корме. Если кормовой цел, он его удержит от разворота. И док по инерции войдёт в канал и будет там стоять или медленно двигаться, пока они не разберутся.

Гордеев кивает и говорит:

— Даю вводную. Кормовой буксир цел. Правый бортовой цел. Док идёт в канал со скоростью узла, разворота нет. Ноль пятьдесят шесть.

И вот тут вся моя красивая схема перестаёт работать.

Потому что мы планировали одно: ударить по буксирам и получить разворот. А получили: ведущий убит, док ползёт в канал ровно, и через шесть-семь минут он войдёт в канал и пройдёт его, потому что канал недлинный.

— Литвинов.

— Секунду, — говорит он.

Он смотрит на план, и я вижу, как он считает — не по бумаге, а по тому, что видит.

— Точку переносим, — говорит он.

— Куда?

— На кормовой, — говорит Литвинов. — Пока док в канале, у него единственное, что держит его от разворота, — кормовой буксир. Если убрать кормовой, он развернётся именно там, где нам надо, — в габарите.

— А вторая группа где?

— Вторая группа по расчёту через три минуты, — говорит Литвинов. — Она идёт с юга и должна была работать по бортовым.

— Меняем ей цель.

— Меняем, — говорит Литвинов. — Но у неё в расчёте прицеливание по створу ворот, а кормовой буксир сейчас не в створе, он позади дока. Значит, ей надо давать другой ориентир, и это не «правее на столько-то», а другая точка привязки.

— Какая?

— Мол, — говорит Литвинов. — Внешний угол южного мола. Он каменный, он на фоне воды виден, и от него до кормы дока в этот момент — фиксированное расстояние, потому что док в канале и он не может быть где угодно. Он может быть только в канале.

Я смотрю на это и понимаю, что он только что сделал вещь, которой я от него уже второй год жду и которую сам бы не придумал: он привязался не к цели, а к тому, что цель заперта.

— Гордеев, принимаете?

— Принимаю, — говорит Гордеев. — Ноль часов пятьдесят девять. Вторая группа меняет точку. Зорин.

Зорин до этой минуты молчал.

Он теперь майор и мой заместитель, на игре ведёт вторую группу и семнадцать месяцев за спиной с тех пор, как он в первый раз повёл поиск на Ладоге, и он сидит за этим столом как человек, который знает, зачем он здесь.

— У меня вопрос по отходу, — говорит он.

Глава 6



— Задавайте.

— Если вторая группа работает по корме дока, — говорит Зорин, — то она отходит на юго-запад. Потому что если она отойдёт на юго-восток, она пойдёт вдоль берега под батареи.

— И?

— А на юго-западе, — говорит Зорин, — у нас квадрат четырнадцать. И в квадрате четырнадцать, если я правильно понял позавчерашний разговор, будут стоять катера товарища капитан-лейтенанта.

Дробыш кивает.

— Значит, так, — говорит Зорин. — Товарищ подполковник, я предлагаю изменить отход второй группы: не юго-запад, а запад, с уходом мимо квадрата, и с набором. Это дороже по горючему на... — он смотрит в свои записи, — минут на семь полёта. Но мы не входим в их квадрат.

— А если кто-то войдёт? — говорит Дробыш.

— Не войдёт, — говорит Зорин.

— Все так говорят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.